

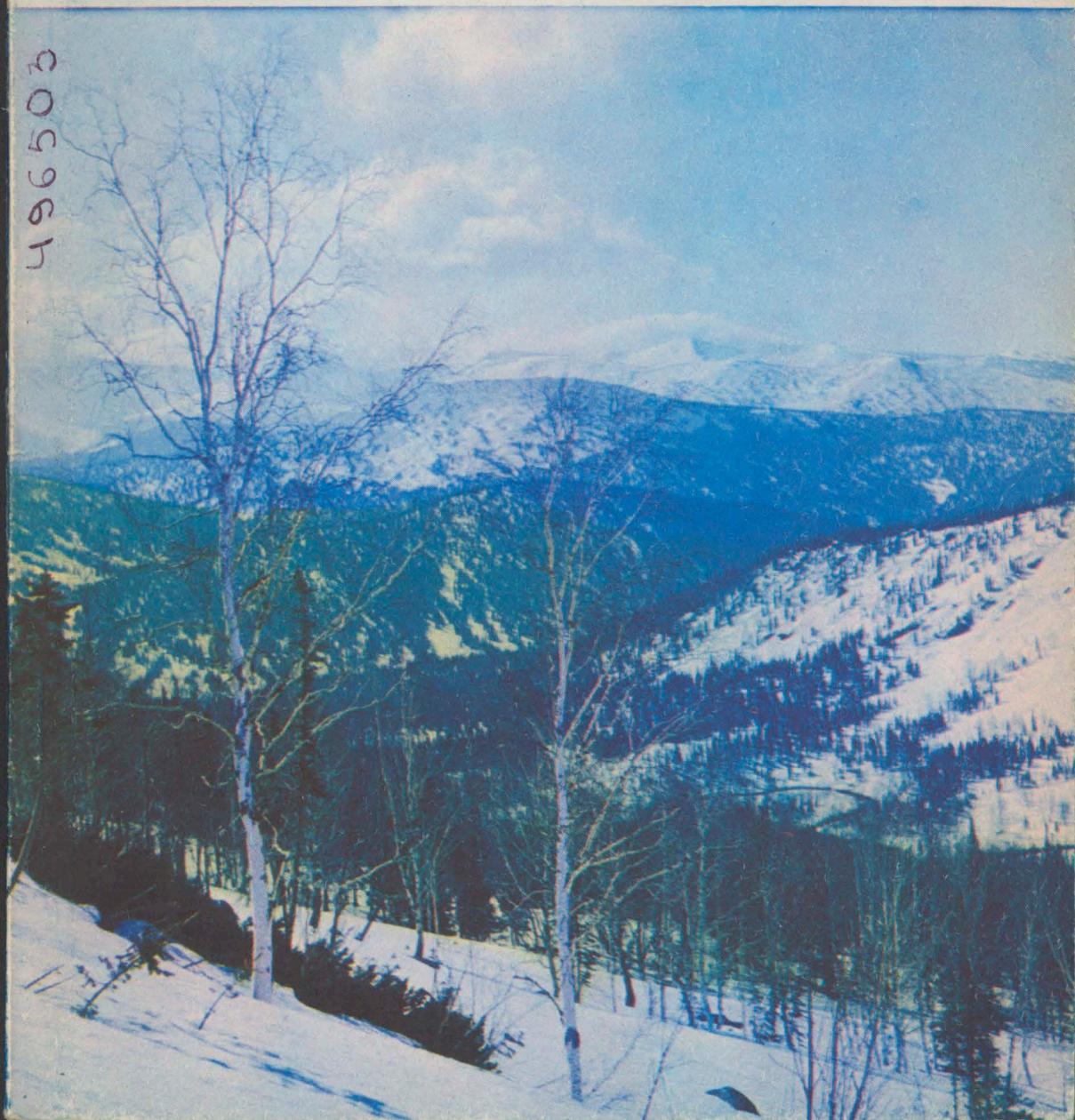
0-38

январь — март

1981

ОГНИ
КУЗБАССА

496503





ОГНИ КУЗБАССА

0-38

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ,
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Выходит ежеквартально

Год издания 33-й



390457

№ 1(70)

ПЕРВЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

В Н О М Е Р Е

СТИХИ

Михаил Небогатов. Родина	3
Валентин Махалов. Из цикла «Времена года»: «У поэтов все не слава богу...» «На улицах стало заметно шум- нее...» Воробей. «К тебе сегодня муза подошла...» «Что убогого — то от бога...» «Белая музыка снега...» «Ноябрь на исходе...» «Под ногами снега хруст...» «Я слышал, что у сердца нету возраста...»	15
Сергей Донбай. Сибирская элегия. «В морозном дыме на спине...» Юрмала. Возраст. «А нас обернуло по- рознь...» Крылья. Земляне.	25

ПРОЗА

Олег Павловский. Диплом с отличием. Рассказ.	4
Владимир Власов. Мастер. Рассказ.	17
Владимир Куропатов. Некто во множестве лиц. (Повест- ование в портретах).	28

НАШ СОВРЕМЕННОК

Татьяна Тюрина. Милосердие. Очерк. 44

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Г. Колесников. Горсть кедровых орехов. 50
В. Мазаев. Из времен года. 56

СЛОВО — КРИТИКЕ

Н. Бейлина. Пристальное внимание. О книге Е. Цейтлина «Всегда и сегодня». 62
В. Копылов. Пристрастие к свету. О новом сборнике стихов И. Киселева «Ночные реки» 67

ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ.

А. Гуковский. Всегда в пути 14

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

Борис Рахманов. Литературные пародии: Поварихины затрешины. Он. 72

Фотография на первой странице обложки — «Скоро весна» — В. Люленкова. Фотографии на второй странице обложки — знатная кемеровская ткачиха, депутат Верховного Совета СССР делегат XXVI съезда КПСС Н. Ф. Бокина — и в номере — Н. Карева.

Рисунки к рассказам О. Павловского и В. Власова выполнены А. Смирновым.

Редактор В. М. МАЗАЕВ

Редакционная коллегия: В. М. Баянов, Г. А. Емельянов, И. М. Киселев, В. Ф. Куропатов, В. Ф. Матвеев (отв. секретарь), В. В. Махалов, З. А. Чигарева, Г. Е. Юров.

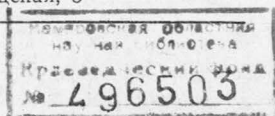
Адрес редакции: 650099, Кемерово-99, Советский пр. 40,
тел. 6-26-95, 6-85-14.

Рукописи не возвращаются

Ведущий редактор Л. В. Глебова; художественный редактор А. С. Ротовский; технический редактор Г. Н. Манохина; корректор Е. А. Царева

Сдано в набор 14.11.1980 г. Подписано в печать 22.01.1981 г. ОП10211. Формат 70×90¹/₁₆. Бумага типографская № 1. Печать высокая. Усл. печ. л. 5,27. Уч.-изд. л. 6,91. Тираж 5000. Заказ № 19094. Цена 40 коп. Кемеровское книжное издательство, Кемерово-59, ул. Ноградская, 5. Полиграфкомбинат, Кемерово 59, ул. Ноградская, 5

0 70500—24 26—81—4700000000
М 145(03)—81



© Кемеровское книжное издательство, 1981



Р О Д И Н А

Есть великое чувство одно,
Что с рождения людям дается.
Как любовь нас волнует, оно
Чувством Родины гордо зовется...
В нем высокая радость, восторг
От всего, что для сердца желанно,—
От искрящихся пушкинских строк
И от грустных картин Левитана,
От народных напевов простых
И задорной, до лихости, пляски,
От пословиц, что складны, как стих,
И от мудрости, вложенной в сказки...
В нем и тихая дума-печаль
У курганов, что землю всхолмили,
Где когда-то дымилась пищаль,
Где зловещие «юнкеры» выли...
В этом чувстве, навеки святом,
Драгоценном, как жизнь и свобода,—
Кремль московский и шушенский дом,
Светоч партии, слава народа.
В этом чувстве — бурлак с бечевой
И в плотинах речные просторы,
С колокольни набат вечевой
И сигнал легендарной «Авроры».

В этом чувстве — что было, что есть:
Дым лучин и огни новостроек,
Звездолета из космоса весть,
Колокольчики праздничных троек...
С ним в полгоря любая напасть,
С этим чувством, нежны и суровы,
Шли мы в бой за Советскую власть,
И к защите той власти готовы...
В этом чувстве — начало начал,
В нем родство и с народом и с веком,
Счастье жить, как Ильич завещал,
Счастье быть на земле Человеком.
Чувство Родины! Слышим в тебе
Зов ко всем, кто характером хрупок:
В самой жаркой идейной борьбе
Черным силам не делать уступок!..
Навсегда нам и дорог и люб
Отчий край — и ручей у оврага,
И дымки голубые из труб,
И крыло кумачового флага.
И нужны ли признанья в любви
К миру этому в солнце и в сини,
Если в сердце мы носим, в крови
Чувство Родины, чувство России!

□□□



Олег Павловский

ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ

РАССКАЗ

1

К встрече Николая готовились, будто к свадьбе. Ефросинья Никитична загодя побелила печь, выскоблила полы, прошлась ветошкой по крашеному потолку и бревенчатым, медового цвета стенам. Сноха Верка вызывалась помочь, но Ефросинья Никитична не допустила: сама, дескать, управлюсь, не велика работа, и в радость опять же.

Матвей Егорович поставил сенную дверь на новые петли — старые проржавели и скрипели истомно — поправил кой-где загородку, вбил с десяток гвоздей в широкие и крепкие еще ступени крыльца, чтоб не шатались, раздобыл две банки голубой краски, покрасил карнизы и наличники, резанные им еще в далекой молодости. И сразу похорошела, омолодилась старая изба, куда много лет назад привел он из соседнего поселка свою Фросю, скромницу и работницу. Здесь, в избе этой, родила она ему и выходила девятирх детей. И девки, и парни вышли у него крепкие, широкой сибирской кости, сметливые, до работы охочие.

Петька с Семеном, оженившись, поставили новые избы на краю поселка, ни рук, ни денег не пожалели, сейчас мебель всякую заводят. Степан, самый прижимистый из парней, решил, видимо, словчить — купил по дешевке развалюху возле рыбного склада, все перебрать собирается, который уж год, а пока лишь детишек студит, задает работу бабке, которая отпαιвает внуков от простуды

разными травками. Мария вышла замуж за кладовщика промхоза, ничего живет, в достатке. Остальные ж поразбóрелись кто куда. Открытки к праздникам шлют, телеграммы, а чтоб жизнь свою в подробностях описать, тем паче родителей известить — так, видать, до последнего дня и не дождешься.

А вообще-то Матвей Егорович на судьбу свою не пенял. Всяко случалось, конечно, за долгие годы, но и в войну не голодовали, без обуви детишки студеной зимой не маялись. Ясное дело, от старшего к меньшему одежда шла, пока не изнашивалась, но уж как изнашивалась — тут же и новую справляли.

Всю свою трудовую жизнь Матвей Егорович числился разнорабочим промхоза: в штатном расписании должности «мастер на все руки» предусмотрено не было. А что был он именно таким мастером, о том не только в поселке — вся округа знала. И сети плел, и сапоги тачал, и кожи выделявал. По кузнечному делу, по плотницкой части, по шорному ремеслу — все в его руках ладилось. Потому и не бедствовал при такой большущей семье. И по ведомости получал прилично, и на стороне прирабатывал. А как вдвоем со старухой остались в избе, так и вовсе копейки считать перестали. Говаривали, что на сберкнижке у Матвея Егоровича на две «Волги» скоплено, так ведь чего только не наболтают языкатые поселковые бабы.

Одним лишь недоволен был Матвей Егорович, одно его мучило, как чирей непроходя-

щий: получалось, вроде как он виноват, что никто из сыновей в настоящие, по его мнению, люди не вышел. Старший Семен еще в четвертом классе к рыболовецкой бригаде прибилсь. Петька, самый, пожалуй, из всех смысленный, с превеликим трудом досидел до седьмого. Ну и остальные: и не скажешь, чтоб тупицами росли или уродами какими-нибудь, а вот к учению охоты не проявляли. И бивал сыновей за это Матвей Егорович, и стращал, и по-доброму пробовал, у них на все лишь один ответ: «Ты, батя, вообще без всякого ученья прожил, а с нас грамоты хвтит, из нее веревки не совьешь». Что не совьешь, то верно, и что дети у него с малолетства больше к труду, чем к учению приучены, верно тоже, и теперь плохого слова о них по работе не слыхивал. Семена портрет на доске Почета за многие годы аж выцвел и вроде как поржавел, к праздникам — Почетные грамоты и премии всякие, а Петьку даже медалью «За трудовую доблесть» наградили, под оркестр вручали. А как же — одна такая медаль на весь поселок, только все одно чувствовал себя Матвей Егорович обойденным, ущемленным судьбой-судьбинойшкой.

У соседа Прохина и всего-то один сынишка, а вот институт закончил, в начальники вышел. Федосьина дочка учительствует в самом Красноярске, а близнецы косорукого Фрола всех превзошли — учеными стали, в Москве живут. И чтобы совсем не обошла судьба по этой части Матвея Егоровича, все свои устремления он сосредоточил на меньшем Кольке. В школу на родительские собрания самолично ходил, читать вслух заставлял Кольку, пересказывать всякие премудрости, к домашним же делам и близко не подпускал, чтоб не тратил понапрасну время, а книжками занимался.

Потом опять же самолично в интернат при райцентре Кольку отвез — в поселке всего лишь восьмилетка была — с директором поговорил по душам, с воспитательницей, чтоб, значит, особо за Колькой присматривали, не ездил туда и отходил сердцем, когда учителя хвалили сына за прилежание и сметку. Возвращался успокоенный, умиротворенный,

и в избе долго тогда царило не часто навещавшее ее стены оживление, потому как Матвей Егорович был характера крутого, шума и возни не любил, шуток не принимал, а уж подковырок там или розыгрышей не терпел вовсе.

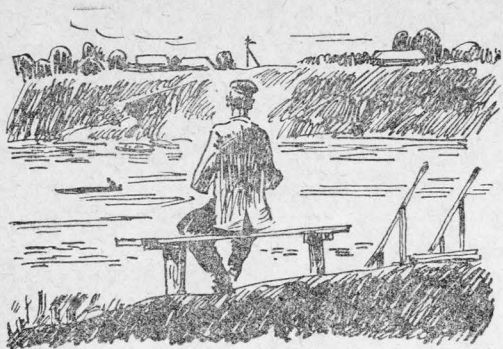
Немалой, возможно, тому причиной была его врожденная хромота, из-за которой всю войну в тихом поселке просидел среди стариков и баб, кляня свою долю. Дважды ездил в райвоенкомат, пытался доказывать, что на войне главную роль руки, а не ноги играют, но все было без пользы. И ходил он злой, с тяжелой душевной обидой, что вот, дескать, его и за мужика принимать не хотят, и словно бы доказуя мужское свое превосходство, клепал детишек одного за другим. Четверых за войну принесла Ефросинья на удивление всем поселковым бабам. После был незначительный перерыв, а затем снова — один за другим. Последним в пятьдесят четвертом родился Колька. Ну, известно, последнему — всеобщее внимание и ласка. К тому ж Николай, как никто из сестер и братьев, проявлял к учебе неподдельный интерес и тем самым вызывал у Матвея Егоровича особое отцовское уважение.

Весь поселок уже знал содержание полученной Матвеем Егоровичем телеграммы: «Диплом защитил отлично буду двадцатого обнимаю всех Николай». Телеграмму Матвей Егорович носил при себе, показывал встречному и поперечному, говоря при этом с нескрываемой гордостью: «Видал, а? Вот шельмец! На отлично, видал, а?! Всех, выходит, переборол!»

Чего-чего, а диплома с отличием никто из поселковских ребят еще не получал.

С того часа, как принесли телеграмму, Матвея Егоровича будто подменили. Он полюбил, приосанился, перестал горбиться, и даже хромота его стала вроде бы незаметной.

— Ты, мать, давай... Ты денег-то не жалеи, они наживные, — говорил он жене. — Скатерть на стол купи новую и рюмок этих самых, чтоб все по-культурному было. Коньяку и шипучки я сам куплю. Стерлядкой на уху разживусь у Проньки, за ним должок числится, а ты поговори с Авдеевной, чтоб,



значит, икорки... Есть у нее, припрятано, знаю. Сам-то, жмот поперечный, не признается, а ты с ней по-своему, по-бабьи... Деньгами захочет взять — так и быть, а коли что починить там, подправить — за мной не станет.

2

Двадцатого Матвей Егорович поднялся чуть свет. Ефросинья же Никитична и вообще глаз почти не сомкнула — за квашню боялась, трижды ночью вставала, подмешивала тесто, подбивала, чтоб не сели потом в печи пироги.

Матвей Егорович помог жене растопить печь, перенес квашню на лавку возле стола, где готовилась Ефросинья Никитична раскатывать тесто. Прежде никогда этого себе не позволял, ибо в поселке испокон веку считалось, что в бабьи дела мужику вмешиваться — все одно как без подштанников на улицу выйти. Надумал было половики вытрясти, нагнулся уже, да вовремя опомнился: трясти во дворе, а там либо прохожие, либо соседи увидят, засмеют. Спустился в подвал, постоял возле банок с соленьями-вареньями, попробовал капусту из бочонка, передвинул с места на место кадушку с груздочками — на самом дне лишь осталось, слоя два-три, не больше, но доставать ничего не стал — к столу все это подавать нужно холодненьким, тогда и у груздочков, и у огурчиков вкус настоящий будет. Зря лазил, выходит.

До двенадцати, когда приходит теплоход из Новосибирска, считай, полдня, но Матвей

Егорович не мог уже вынести ожидания, надел чистую рубашку в крупную клетку, новый совсем, сберегаемый только для больших праздников костюм и похромал на берег.

Тихо и пустынно было в этот час на берегу. Ребятишки и те, видать, еще в постели нежились. Зато потом, к теплоходу, придут все, кто не на работе, постоят в задумчивости, глядя на огромный белоснежный корабль, на котором многим и бывать не приходилось, проводят взглядами и снова вернутся к домашним своим делам. И только ребятня допоздна будет гудеть на берегу, устраивая свои неприхотливые игры и забавы. Так уж издавна повелось: встречать теплоход всем поселком, даже если никто никого не ждал и никто никуда не ехал.

Дебаркадера у поселка не ставили, и когда пассажиров не было, а с берега сигнала не подавали, то теплоход, троекратно поприветствовав собравшихся приглушенным гудком, просто-напросто проплывал мимо. Или же бросался на рейде якорь, с верхней палубы спускалась на таях шлюпка, и дюжие парни-матросы на веслах доставляли пассажиров на берег и забирали с собой новых. В последние годы такие остановки происходили все чаще, чуть не каждый день, потому что, по мнению Матвея Егоровича, народ посходил с ума, никак не найдет себе места и мечется из поселка в город, из города в поселок. А раз никакого другого сообщения с миром в здешних местах не имелось, то и прибавлялось у судовой команды работы.

Матвей Егорович сел на скамью. Их было здесь две — по одну и другую сторону крутой деревянной лестницы с высокими перилами. Серые потрескавшиеся ступеньки сбегали к воде. Лестницу эту сбил Матвей Егорович лет пятнадцать назад, когда старую смыло небывало высоким даже для этих мест паводком. И скамейки он сделал тогда же. Крепкие еще, только вот какое-то хулиганье спинки поотрывало.

О жизни своей Матвей Егорович никогда не задумывался. Жил себе да работал. И сейчас, глядя на широкую, волнующуюся, мутную до желтизны Обь, он лишь радовался душой за Николая, да и за себя тоже,

ведь сын его достиг положения, о котором самому и не мечталось.

Постепенно берег оживал, наполнился людьми. Говорили о всяком, а прежде всего о том, что поселковое начальство никак не может добиться, чтобы поставили дебаркадер, и в сотысячный раз сетовали, что нельзя по этой причине забежать во время стоянки в пароходный буфет, разжиться чем-нибудь вкусненьким, чего в поселковый магазин не завозят.

Когда показался, наконец, теплоход, Матвей Егорович не сидел уже в одиночестве — рядом были сыновья с невестками, внучата, дочь Мария. И хотя Николай приезжал прошлым летом на каникулы, разговор о нем вели так, будто не видывали с самого дня рождения. Вспоминали и озорство его, и способности к учебе, и усидчивость. И выходило, что умнее и находчивее Николая никого в семье не было, и очень было это по душе Матвею Егоровичу.

Когда теплоход на подходе гуднул приветливо в первый раз, прибежала, запыхавшись, и Ефросинья Никитична в новой, специально для этого случая купленной по настоянию Матвея Егоровича кофте.

— Ну, как там у тебя, мать? — спросил Матвей Егорович.

— Да все вроде бы ладно.

Теплоход, под хорошо слышимые на берегу команды помощника капитана, отдавал якоря.

Матвей Егорович шел степенно, не торопясь, сдерживая самого себя, и так точно рассчитал свой шаг, что шлюпка с пассажирами ткнулась носом в прибрежную гальку как раз в тот момент, когда он подошел к воде.

Николай чего-то закопошился, не первым прыгнул на берег, и Матвей Егорович в нетерпеливом ожидании подопнул вроде бы и некрупную булыжку, но сильно зашиб палец и скривился от боли.

— Здравствуй, батя! Ты чего такой недовольный? Или не рад?

— Та, язви ее в душу, попалась вот тут под ногу. — Матвей Егорович крепко обнял Николая, но целоваться не стал, постеснялся.

Зато Ефросинья Никитична, прослезившись, припала к сыновей груди, долго целовала и ощупывала его сухонькими руками, словно пыталась убедиться, что не обманывается, что не сон это, а явь.

Потом Николай поздоровался с братьями, сестрой, невестками и снова подошел к отцу.

— Ну что, батя, пошли?

— Пошли-то пошли... Тебе чего — этого самого не дали, что ли? — Матвей Егорович ткнул пальцем в лацкан Николаева пиджака.

— Поплавка-то? — рассмеялся Николай. — Ну как же... Дали, конечно, — сунул руку в карман, достал коробочку, открыл:

— Вот, пожалуйста...

— А ты надень, не украдено, так нечего и в кармане таскать.

— От этого ума не прибавится.

— Прибавится, нет ли, а надень.

— Ладно, батя, надену. Дома. Не буду же у всех на виду привинчивать.

— Раньше привинтить надо было, — буркнул Матвей Егорович и похромал к лестнице, все еще морщась от боли в ушибленном пальце.

В самый разгар гулянья, когда женщины завели песни с подвываниями, а мужики перестали ожидать тостов и наливали себе без приглашения хозяев, Петр подморгнул Николаю: «Пошли, покурим...» Николай, сидевший на торце длинного стола между отцом и матерью, окруженный всеобщим вниманием, чувствовал себя не в своей тарелке, краснел от громких слов в его честь, через силу улыбался и также через силу пил ненавистный коньяк, которым усердно угощал его отец, приговаривая: «Мы-то люди простые, к этому зелью не приучены, а вот тебе, инженеру, оно в самую пору». Николай хорошо понимал отца, его радость и щедрую приветливость и не мог сказать, что он куда с большим удовольствием пропустил бы сейчас стопочку самой обыкновенной, за три шестьдесят две.

— Пойду, батя, покурю, — сказал Николай.

Сам Матвей Егорович к табаку не был приучен, не выносил табачного дыма и по-

тому в избе, даже во время гулянья, никто никогда не курил.

— Сиди, — попытался удержать сына Матвей Егорович. — Лишний раз не покуришь — вреда не будет... А коль не можешь потерпеть — кури здесь. Разрешаю... Давай, давай, дыми, дымокур...

— Нет, батя, — встал Николай, — не будем нарушать традицию.

— Ишь ты — традиция! Слова-то у тебя!.. — вроде бы с усмешечкой сказал Матвей Егорович, а в душе был доволен — уважает, значит, Николай отца с матерью, не возгордился новым положением.

Петр уже сидел на приступке крыльца, поджидал брата.

— Какие куришь?

— Свои, студенческие. — Николай вытянул сматую пачку «Севера».

— Угощайся. — Петр достал «Беломор». — Значит, брат, отучился. Здесь, думаешь, устраиваться?

— Поживем — увидим.

Петр выпустил дым колечками.

— А Мишка Прохин аж под Якутском с экспедицией по тайге шлындает.

В избе, слышно, ударились в пляс. Про «именинника» наверняка позабыли. Крепко подвыпившим гостям теперь все равно было, за что и за кого пьют, в чью честь веселятся.

— Слыш-ка, Петр Матвеевич, — после того как Петра наградили медалью, Николай частенько в шутку так называл брата, — не махнуть ли нам на Чудинку? Бельенкой взять...

— Сейчас?

— Сейчас. А что?

— Ну, братуха, теперь вижу — делу тебя в институте учили, — Петр хлопнул руками по коленям, вскочил проворно. — И Семена прихватим...

— Конечно. Степана тоже зови.

Петр замешкался в дверях.

— Ну его, пустомелю...

Степана братья недолюбливали. Один такой, расхлябанный, в их семье вырос. Языком чесать мастер, а к настоящей работе

руки не лежат. За что ни возьмется — никак до конца не доведет.

— Как знаешь, — сказал Николай.

Матвей Егорович уследил-таки, как перешепнулись Петр с Семеном, как недобро при этом вскинула брови Семенова жена Вера. Пошатываясь, он пробрался среди пляшущих, ухватил Петра за рукав:

— Чего надумал?

— Прогуляться решили, батя... Николаю на Чудинку взглянуть захотелось.

— Захотелось! Ты ж небось сговорил Кольку. Один день в отцовском доме посидеть не можете. Чудинка не убежит, а я, может, такого праздника всю жизнь свою ждал... — у Матвея Егоровича перехватило горло, и он только рукой махнул: делайте, мол, как знаете, если совести нет.

Семен незаметно для гостей взял со стола и сунул в карман поллитровку. Петр забежал на кухню, прихватил закуски, три стакана и, подумав, вытянул из отцовской заначки за буфетом еще бутылку. Про то, как отец изливал перед ним свою обиду, решил Николаю не говорить.

За рыбным складом они свернули вправо и вышли на широкую проторенную тропу, круто сбегающую вниз к маленькой речушке Чудинке. Расположились на заветной Колькиной полянке среди тальника. Здесь Николай строил шалаши в детстве, играл, ловил рыбешку.

— Хорошо! — раскинув руки, воскликнул Николай.

— Хорошо, — согласились братья.

Настоящий же разговор склеился, лишь когда Семен, размахнувшись, забросил опорожненную бутылку в омут и сказал:

— Вот, значит, Колька, и твоим заботам пришел конец.

— Не скажи, — Петр смачно дожевывал огурец. — Его заботы в самый раз начинаются. Работенку искать, гроши добывать, все прочее.

— А сколько, скажи, тебе на первых порах положить? — спросил Петр. — Ну, сотню, от силы полторы. А маяты с утра до ночи, как вон у нашего Федора Степановича. Да выговоры от начальства, да в семье раздо-

ры, потому как с работы поздно приходить станешь. Долгов куча. Не жизнь — тоска.

— Это точно, — поддержал его Семен. — Мы что, думаешь, такие уж недоумки? Тоже могли бы эти корочки добыть при желании. Только мы вовремя сообразили — а на хрена? Я, к примеру, сто двадцать за неделю могу лупануть. И сам себе хозяин.

Семен сыто усмехнулся, огладил слегка выпяченную грудь и стал распечатывать вторую бутылку. Разлил на глазок по сто граммов, поднял стакан и вместо тоста сказал:

— Так что ты, Коля, гляди... Чтоб на мель не сесть. Диплом — он тебе, может, и сгодится, только с ним ведь одно молочко пить придется. Оженишься, детишки пойдут, то да се... Ну ладно, взяли!..

Николай раздумывал — говорить или нет? Странно, что разговор двинулся именно по этому руслу. Да он еще в институте решил на рядовую работу устраиваться. И причин тому было немало. Та, о которой говорили братья, стояла на последнем месте, хотя свое значение имела. Чем копейка больше, тем оно, разумеется, лучше, социализм подобный фактор предусматривает. Главное же — не считал он себя еще подготовленным к роли руководителя, организатора производства, в этом он на преддипломной практике убедился, примечая скрытые усмешки рабочих. Он старался, очень старался, из кожи, как говорится, лез, но не все получалось как надо и как того ему самому хотелось. Не знаний, а какого-то другого, лишь подсознательно ощущаемого умения не доставало ему. То ли расторопности, то ли подхода к людям, то ли еще чего. Вот тогда-то еще он и надумал повариться сначала в общем рабочем котле, познать — что, как и к чему, а уж потом и о своих правах заявлять. Только вот не найти здесь, пожалуй, подходящей работы, но опять же и уезжать далеко от отцовского дома не хотелось — в ноябре-декабре идти на действительную. Но пока Николай решил ничего и никому о своих задумках не говорить: неизвестно, как еще все обернется.

— Сговорились? — скользнул он взглядом по братьям.

— Очень надо! — Семен скорчил презрительную гримасу. — За нас жизнь говорит, Коля. Жизнь! А она, сам знаешь, му-удрая...

3

Матвей Егорович советовал Николаю не спешить, оглядеться — инженеры кругом нужны, жаль, в поселке, кроме лесоперевалки да рыболовецкой бригады, ничего нет, а то как бы хорошо было в родительском-то доме. Разве вот на ту сторону, на лесозавод. На моторке туда-сюда запросто. Новую купить можно, чтоб с шиком. Лучшего, пожалуй, и не придумаешь — не придется по чужим квартирам или общежитиям мыкаться, в столовках питаться. Изба вон какая, хоть всю занимай и жену приводи. И о том, дескать, стоит подумать, что жить им осталось недолго, мать совсем стала плоха, да и у него со здоровьем все хуже и хуже, то в одном боку заколет, то в другом. Тут Матвей Егорович явно хитрил, против совести воздействовал на сыновние чувства: был он еще в доброй силе, никаких болячек не знал, сон имел крепкий, Ефросинья Никитична тоже на здоровье не жаловалась, хотя и управлялась с хозяйством не так проворно, как в молодости.

Николай слушал отца учтиво. Матвей Егорович принимал его молчание за полное согласие со своими доводами, и гордость за покладистого, умного, образованного сына так и распирала его всего.

Близко к сердцу принял заботы Николая брат Степан, неожиданно для всех показал свою прыть. Он «доклаживал» вечерами, кто и где требуется, сколько можно «подзаколотить», но, как и отец, спешить не советовал, чтоб не прогадать, не пожалеть после.

В среду, на шестой день Николаева пребывания в родном краю, Степан, возбужденный и запыхавшийся, прибежал за Николаем в обеденный перерыв, буквально выволок его на улицу и сказал:

— Все! Есть! Пошли...

— Куда? С цепи, что ли, сорвался?

— Ага, сорвался. Двигаем на перевалку...

— Зачем?

— Пашка Афанасьев увольняется.

— Мне-то что — пусть увольняется.

— Э-эх! Инженер, а не доходит... Пашка кем работал? Монтером-электриком. Соображаешь? Работенка не бей лежачего, сиди, пока там чего-нибудь не случится, а две сотни вынь да положь.

— Я ж инженер по электроприборам. Тут обмозговать надо.

— По дороге обмозгуем...

Вообще-то выходило, что лучшей для него работы здесь и впрямь не сыскать. И то, что Пашка уволиться решил — это просто везение. И не в том дело, что работа, как Степан говорит, не бей лежачего. Бездельничать не в его характере. Если все сладится, он всю линию, все проводки-подводки заново пересмотрит, переберет, чтоб не ждать аварию, а предупредить ее. Главное, все же не бревна кантовать, как-никак ближе к специальности, будет к чему и голову, и руки приложить. Степан всей ответственности участкового электромонтера не понимает.

Шум из кабинета директора лесоперевалочной базы Андрея Федоровича Переверзева доносится аж до улицы. Собственно, и не шум, а хриплый, утомленный криком пашкин голос.

— А мне плевать, — кричал Пашка, — мне хоть вся база пропади пропадом! Мне свое дороже. Я, как положено, две недели назад заявление подал — вот и подписывай! Все по закону. Не подпишешь — без расчета уеду, переводом деньги высылать будешь. Все по закону...

Послышался сильный хлопок дверью. Пашка, красный и разозленный, вылетел из конторы на улицу, осмотрелся, словно выглядывая, на ком свою злость сорвать, увидел Степана с Николаем, кинулся к ним.

— Во — видали? Гусь лапчатый! Замену ему подавай. Я что — отдел кадров? Пусть сам ищет. Мое дело маленькое. Я по закону...

— Убавь жару-то, убавь, — сказал Степан, — паром изойдешь. Вот тебе замена, — подтолкнул Николая к Пашке.

Пашка оторопел, соображая — разыгрывают его или это вразправду. Чего бы вдруг инженер в монтеры пошел...

— Врешь!

— Да нет, — сказал Николай, — хочу попробовать. Для практики.

— Ну, друг, ежели так... ежели вправду... с меня бутылка... слово даю... — Пашка схватил Николая, вволок в кабинет директора, подтолкнул к столу: — Вот, Андрей Федотович, получайте... замену...

4

После ужина Николай вышел на крыльцо, закурил, усмехнулся, вспомнив нелегкий разговор с Переверзевым. Уверен был, что тот с объятиями его встретит, а Переверзев неожиданно заартачился: «Смеешься? Инженера — монтером! Да ведь надо мной шуки хохотать станут. Хочешь — начальником деревообделочного цеха?.. Ну, мало ли что не лесовод. Разберешься. Голова-то есть на плечах... А то вот Авдеев скоро на пенсию пойдет... Да как же я вид сделаю, если весь поселок знает? Представляешь, какая слава пойдет? Дескать, инженерно-техническим персоналом раскидываюсь, неправильная расстановка кадров и прочее...»

Пашке, видимо, надоело все это слушать. «Ладно, — сказал, — вы тут разбирайтесь, а я пошел чемоданы складывать». Андрей Федотович скривился, будто горсть кислицы разжевал: «Ну как вот работать, скажи... Это Нюрка его смутила, стервоза несчастная. В городе ей, видишь ли, жить захотелось, в туфельках по асфальту ходить, прелести свои показывать... И законы ведь до тонкости знают, когда они в их пользу. А для меня, директора, на этот счет законов не писано. Выкручивайся, как знаешь...» Андрей Федотович ругался не злобствуя, а с болью душевной за свое производство: «С кем работать-то, скажи, с кем?..» «Да вот хотя бы со мной...» — Николай рассказал о своих намерениях. «Ну вот и ты — до армии. А потом? Где я на твое место человека сыщу?» И лишь тогда Переверзев согласился оформить Николая монтером, когда тот дал слово, что, во-первых, наведет в электрическом хозяйстве полный порядок, а, во-вторых, перед призывом в армию заранее найдет себе за-

мену или подготовит кого из ребят. Николай на все был согласен.

Теперь надо было сказать об этом отцу. Матвей Егорович смолил дратву, собираясь подшить валенки. Лицо у него было сосредоточенно, руки подвижны, и Николай, как в детстве, бывало, залюбовался его еще крепкими жилистыми руками, проворными пальцами с коротко остриженными ногтями.

— Ну, батя, завтра и мне на работу. Хватит бездельничать, наотдыхался.

— На какую еще работу?— Матвей Егорович закусил конец дратвы.

— На перевалку.

— Лес кантовать или багор доверили?— не скрывая иронии, спросил Матвей Егорович, послушав конец смоленной нити, стал вдевать в ушко толстой иглы.

— Пашка Афанасьев рассчитался, вот я на его место электриком. И заработок хороший, и с вами жить буду, как ты хотел.

Матвей Егорович, так и не вдев нитку, опустил руки, просверлил Николая долгим пронзительным взглядом, пытаясь увериться, не ослышался ли, а уверившись, почти не разжимая губ, произнес:

— А меня ты, сукин сын, спросил?

— Я... я не понимаю,— Николай не ожидал такого поворота событий. Ну, думал, поворчит отец, поспешил, скажет, но что бы вот так...

— Не понимаешь?— Матвей Егорович повысил голос.— А седины мои на позор выставлять — это ты понимаешь?

— На какой позор? О чем ты, батя?

Матвей Егорович с остервенением воткнул иглу в голенище лежащего перед ним валенка, с неприкрытой яростью смахнул его с лавки на пол, отопнул к печи, пошел на Николая:

— О чем, спрашиваешь?... Эй, мать, иди сюда, полюбуйся на своего сыночка.

Ефросинья Никитична вышла из кухни с полотенцем и тарелкой в руках, посмотрела сначала на Николая, перевела взгляд на стоящего посреди комнаты разъяренного мужа, пожала плечами.

— Да что случилось-то?

— А вот то случилось, что мы с тобой теперь навряд-ли клоунов будем в поселке. Ско-морошничать пойдем вместе с твоим сыночком, задарма представленья устраивать... Ну говори, говори матери, какую ты нам свинью решил подложить...

— Нет, честное слово, я тебя не пойму, батя... Ну, что ты. Чем не работа-то?

— Да на какую, на какую работу-то, говори...— взвизгнул Матвей Егорович, припадая на короткую ногу.

— Ну, электриком, на лесоперевалку.

— Во, мать, слышала?! Заместо Пашки Афанасьева, пьяницы этого. Когти за плечи, бутылку в карман — и пошел. Дожили до праздничка. Пять с лишним лет ждали, чтоб сынок на виду всего поселка по столбам обезьяной лазил,— Матвей Егорович попытался даже изобразить, как Николай лезет на столб. Получилось это у него довольно естественно, и Николай не смог удержаться от улыбки.

— Смеешься?... Во-от, вот так и над тобой люди будут смеяться. А заодно и над нами, твоими родителями.

— Послушай, батя...

— И слушать ничего не желаю. Не даю я тебе на это своего родительского согласия,— Матвей Егорович взмахнул обеими руками, как крыльями, и сел на свое прежнее место.

Ефросинья Никитична растерянно терла краем полотенца доньшко тарелки.

— Мама, хоть ты выслушай... Мне в армию через три-четыре месяца. В ноябре, как всегда, мобилизация. Ну, поработаю я это время простым электриком, ну что из того, скажи, пожалуйста...

— Ох, не знаю, что и сказать, сынок,— Ефросинья Никитична поднесла полотенце к глазам. По ее понятиям, конечно же, ничего в том зазорного нет, работа есть работа, да вот отец... Очень уж ему хочется Колю в начальниках видеть.

— Зато я знаю,— решительно сказал Матвей Егорович.— Ни на какую работу ты завтра не пойдешь. Уж лучше дома сиди. Хоть три месяца, хоть десять. А по столбам

лазить не позволю,— Матвей Егорович встал, поднял с пола валенок.

— Извини, батя, но на работу я завтра пойду,— не менее решительно сказал Николай.— Приказ уже подписан.

«В меня характером пошел, стервец,— Матвей Егорович не знал, радоваться этому открытию или негодовать,— а коль так, то, выходит, криком да стуком его не проймешь. Тут с другого боку подходить надо...»

— Приказ отменить можно,— проворчал Матвей Егорович, по возможности смягчив голос.— Я сам с Андрей Федотычем поговорю. Да и сознайся по-честному — не работа, а заработок тебя смутил... Вам ведь сейчас все разом подай — и «Волгу», и обнóву, и хату нову. А без денег-то где все это возьмешь, так ведь? Ну, раз так, то давай к этому вопросу с другой стороны подойдем... Изба у тебя, считай, есть. Обнóву, какую хочешь, справим. Ну, а «Волгу»... «На Волгу», пожалуй, не наскребу, а вот на «Москвича» или этого самого «Жигуленка»... Как, мать,— стоит ради того раскошелиться? Пусть катается, а? Инженеру вроде и не положено пешком-то ходить,— Матвей Егорович даже развеселился, довольный этой неожиданно пришедшей в голову мыслишкой. Разве устоит Николай перед «Москвичом»!

Но Николай устоял. Более того, сказал, что машина ему ни к чему. Здесь на ней не раскатаешься, а если в городе будет жить, то опять же неизвестно, когда это будет, как с квартирой получится, да и место под гараж не выхлопочешь. Так что разговор этот, дескать, зряшний. И, в конце концов, если уж захочет машину купить, то на свои кровные.

— Мое дело предложить,— тем же миролюбивым тоном сказал Матвей Егорович.— На свои так на свои. Тут я твою самостоятельность ценю. Переверзев-то сколько тебе наобещал?

— Оклад сто шестьдесят плюс коэффициенты и премиальные. В общем, у Пашки в среднем за двести в месяц переваливало,— скороговоркой произнес Николай, обрадованный, что отец наконец-то начал сдаваться.

Но плохо, видимо, знал Николай своего отца.

Матвей Егорович долго и сосредоточенно молчал. Ефросинья Никитична, уверовшая, что все окончилось миром, снова ушла на кухню. Николаю страстно захотелось курить, аж под ложечкой засосало, он достал папиросы и пошел к двери.

— Погодь,— остановил его отец,— договорим, тогда уж... Или здесь кури. От одной дыму немного... Я вот что тебе предложить хочу... Твое дело, знаю, молодое,— постучал ладонью по коленке, глянул хитро так, с прищуром:— Без лишней копейки в кармане жить-то не очень весело. Верно? И то знаю, что инженеру попервости оклад не ахти, на Пашкином месте, само собой, больше получать станешь. Так вот давай мы с тобой,— Матвей Егорович перешел на шепот,— вдвоем договоримся, чтоб никто, даже мать, если хочешь, не знала... Ты, значит, на инженерскую должность идешь, на которую выучился, а я... А я к твоей там зарплате добавлять буду, чтоб в месяц у тебя две, значит, сотни с гаком и выходило... Да ты подумай, подумай... Я ведь сам спешки-то в деле не люблю. Это ты, незнамо в кого пошел, заспешил вдруг, отца не спросившись... Ну, иди, покури... А потом ответ дашь.

Николай потоптался у порога, хотел было выйти, уже руку к скобе протянул, но дверь вдруг сама собой распахнулась, и в избу ввалился Пашка Афанасьев.

— Наше вам, Матвей Егорович,— поклонился пьяно, шутовски, вытянув перед собой правую руку,— крепко уже на взводе был Пашка,— прошел к столу, выставил поллитровку:— Пашка трепачом не был и никогда не будет. Так что давай, товарищ инженер, давай, Николай Матвеевич, Коля-Николаша, за это самое...

Матвей Егорович какое-то время ошеломленно наблюдал за происходящим, потом поднялся, в глазах его вспыхнул недобрый огонек.

— Ты чего пришел? Тебе чего здесь — трактир? Или уж больше выпить не с кем стало?

— Тихо, Егорыч, тихо. Не шуми зря. Я ж не сам по себе. Я слово дал. А Пашка тренингом не был и никогда не будет. Вот и принес, как обещал. Так что не шебутись и давай-ка, Егорыч, с нами по стопарику. За мое, значит, увольнение и его вот назначение. И закусить бы чего...

— Заку-у-суть? — Матвей Егорович сложил пальцы в крупную фигу и поднес к самому Пашкиному носу. — На, закуси да выкуси... Бутылку он, вишь ли, принес... Да я тебе ящик выставлю, чтоб только рожки твоей не видать... А ну забирай и убирайся к такой матери...

Пашка повернулся к Николаю, взглядом взывая о помощи, но тот стоял возле двери с опущенной головой, словно происходящее его не касалось. Ефросинья Никитична выглянула из кухни с испуганным лицом и скрылась.

— Э-э, — Пашка, будто саблей, рубанул рукой воздух, — все-то у вас не как у людей, — и, словно враз протрезвев, твердым шагом пошел к выходу.

— Забери эту дрянь, ну...

Пашка остановился, ядовито, с нескрываемой неприязнью оглядел Матвея Егоровича с ног до головы, словно в первый раз видел, взял бутылку, подкинул, с ловкостью жонглера поймал, сунул в глубокий карман, покрутил возле виска пальцем и вышел, оставив дверь открытой.

Матвей Егорович, как бы желая удостовериться, что выпивки на столе нет, обежал его, зацепив за стул пиджаком, с силой захлопнул дверь, проковылял, прихрамывая больше, чем обычно, в дальний угол комнаты и уже оттуда, срываясь в голосе, стал кричать, что вот он, позор, начался уже, что завтра весь поселок знать будет, как Пашка за поллитру Николая купил, и пусть он, Матвей Егорович, лучше провалится вместе с домом в тартарары, нежели допустит такое посмешище.

Николай, тоже немало огорошенный неожиданным вторжением Пашки и раздосадованный последовавшими событиями, забыл про традицию, закурил и только после двух то-

ропливых и крепких затяжек как можно спокойнее сказал:

— Не шуми, батя. Себя только криком растрavляешь. Ну напился Пашка с радости — что с него возьмешь? А о магарыче речи не было, и вообще Пашка тут совсем ни при чем.

— А кто же тогда причем, кто?

— Я, батя. Один я. Степан сказал мне, что Пашка увольняется, вот я и...

— Степка сказал? — подскочил Матвей Егорович. — Вот оно, значит, откуда ветер... Сам, недоучка, всю жизнь на подхвате, и брата туда же... Я ему задам, я его курячьи мозги выверну... Слышь, мать? Степка всю кашу-то заварил, сапог дырявый, валенок неподшитый... Теперь-то все понятно, все на свое место стало. С первого дня заметил — Степка с толку тебя сбивал, да значения тому я не придавал, старый дурак. А ты-то: ученый человек, с дипломом, со знаком этим отличающим, ты-то на Степкины уговоры поддался? Степка деньгу любит, это тебе весь поселок скажет. Да в деньгах ли счастье-то? Да мне их, проклятых, век бы не видать. Мне бы, чтоб хоть ты, значит, того... человеком... чтоб уважали... — горло Матвея Егоровича перехватило спазмой, и он отвернулся к окну.

У Николая голова шла кругом. Ему до боли жаль было отца, но идти на попятную он уже не мог, потому как дело это было давно решенное, и Степан, как и Пашка, никакого отношения к этому не имеет. Знать бы, что так все обернется...

Он подошел к отцу со спины, хотел обнять, даже руки сами собой поднялись, но не приняты были у них в семье такие вот «телячьи нежности», положил только правую руку на отцовское плечо и стал говорить, что отец глубоко заблуждается, что уважают человека не за диплом, а за дела его. Матвей Егорович не стал слушать, вывернул плечо из-под руки, прошел к столу, поднял опрокинутый стул и, глядя в потолок, спросил, задыхаясь:

— Ты мне одно скажи — противу отца пойдешь или нет?

— Ничего, не горюй, — сказал Николаю Степан. — Он ведь такой: пошумит-пошумит, да и стихнет. Я вот когда на Нюрке решил жениться, сколько шуму было! Не нравился ему, видишь ли, Нюркин характер, не по его невесту себе выбрал. А потом ничего, отошел, да еще такую свадьбу отгрохал — весь поселок ходуном ходил, до сих пор вспоминают. Так что перемелится — мука будет.

Но Степан ошибся. Не вдруг примирился с сыном Матвей Егорович. Даже когда сам директор лесоперевалки Андрей Федотович Переверзев, встретив его на дороге, руку пожал, поблагодарил за сына-умельца, кинул

на него недоумевающий взгляд — не по адресу, мол, нет у меня никакого такого сына и, не промолвив в ответ ни словечка, пошел себе дальше. Когда же портрет Николая повесили на доску Почета, стал обходить ее стороной, хоть и составляло это для него большое неудобство, потому что доска Почета стояла в самом центре поселка, между магазином и клубом. И лишь когда с первыми крепкими морозами, ударившими нынче позднее обычного, уходил Николай в армию, переборол себя, поднял на проводинах стопку, молча чокнулся с Николаем. А выпив, стопку с силой бросил в угол комнаты, так что разлетелась она на мельчайшие осколки. По народному поверью — на счастье!



ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ.

ВСЕГДА В ПУТИ

В минувшем году писатели Кузбасса неоднократно выезжали со своими творческими отчетами. Они выступали перед читателями Новокузнецка и Прокопьевска, Анжеро-Судженска и Юрги, Ленинска-Кузнецкого, Гурьевска и Тайги.

Хочется особо отметить поездку литераторов в Мыски. Организованно, на высоком творческом накале проходили встречи с трудящимися и учащейся молодежью города. Секретарь горкома партии по идеологии Л. И. Галиченко и заместитель председателя горисполкома В. П. Лабзин заранее спланировали, до мельчайших деталей продумали каждую встречу.

Давняя, плодотворная дружба у писателей с трудящимися Кемеровских заводов «Кузбассэлектромотор» (организатор — зав. библиотекой Л. Мандрик) и производственного объединения «Азот» (зав. культмассовым отделом ДК завода Л. Андреева). Прозаики и поэты — желанные гости отделов, служб и цехов этих предприятий.

Впереди — новые пути-дороги, новые интересные творческие встречи.

А. Гуковский.



Валентин Махалов

ИЗ ЦИКЛА
«ВРЕМЕНА ГОДА»

У поэтов все не слава богу.
Не давая сердцу отдохнуть,
Рано собираются в дорогу,
Первыми заканчивают путь.

Умирают не в почетных креслах —
С верой и отчаянием в глазах:
Кто известным, кто совсем безвестным,
Миру слово доброе сказав.

И ночами в космосе морозном
О судьбе их в дальнем далеке
Тихо разговаривают звезды
На своем высоком языке.

На улицах стало заметно шумнее
От смеха, от гомона птах.
Толкутся ручьи по весенним аллеям,
Куда-то бегут впопыхах.

И солнцу лучами звенеть над горою
С утра повелела весна.
И только у стелы погибших героев
Стоит на часах тишина.

ВОРОБЕЙ

Мы пережили зиму, воробей.
Еще один на стойкость сдан экзамен.
В твоей судьбе, да и в моей судьбе —
Не привыкать бороться с холодами.
Терпеть невзгоды не впервой тебе.
Я к ним приучен тоже с малолетства.
Мы пережили зиму, воробей.
Пора и нам на солнышке погреться.

В. Крекову

К тебе сегодня муза подошла,
К столу, где ты горбатился сутуло,
И руку для знакомства подала,
В твои глаза задумчиво взглянула.
Благодаря судьбу за этот миг,
Пускай недолгий, но счастливый

самый,
За образ, что перед тобой возник —
Навеки Юной и Прекрасной Дамы.
Когда поймешь, что ты чего-то смог,
Свершил,
Что дружба с музою возможна,
Ты вспомни:
Руки целовал ей Блок...
Подумаешь,
И сердце схватит дрожью.

Что убого — то от бога.
А талант — от сатаны.
По одной ходить дороге
Разум с глупостью должны.
Как из них кому живется?
Кто кого переживет?..
Разум горько усмехнется,
Глупость в лад ему вздохнет.

Белая музыка снега,
Ветра печальный мотив —
Падают, падают с неба
Одушевленно почти.

Зимняя песня природы,
Белая-белая мгла.
Ты говоришь:
— Непогода
Наши пути замела...

Я слышал, что у сердца нету
возраста,
Возможности его не перечсть.
Потом я понял с тайной тихой
горестью,
Что все-таки у сердца возраст есть.

Есть у него и взлеты и падения,
Смирение и всполохи огня.
И счастье ощущать сердцебиение
Еще дорожке стало для меня.

Ноябрь на исходе.
Морозная хмарь
Еще дерева не куржавила.
Случилось такое,
Что нынче зима
Пришла к нам, в Сибирь,
Не по правилам.
Подводят итог,
На погоду дивясь,
Деды, сединой убеленные:
— Нарушена в мире
Привычная связь
Циклонами,
Антициклонами.
О боге давно уже
Нету речей —
Никто на него не ссылается...
Бежит по асфальту
Ноябрьский ручей.
Воробышек в луже купается.

Под ногами снега хруст
В гулкой тишине.
Заяц спрятался под куст
И дрожит во сне.
Под холодной луной
Я случайный гость.
Разлинована лыжней
Роща вкривь и вкось.
До села — подать рукой.
Светятся огни.
Помани меня домой,
Сердцем помани.
Тропка к двери привела
Дома твоего.
Мне бы чуточку тепла.
Только и всего.



МАСТЕР

РАССКАЗ



Над воротами геологоразведочной партии пламенел огромный плакат: «Привет бригаде старшего мастера И. П. Бондаренко, выполнившей полугодовой план за четыре месяца!».

Рослый, широкоплечий парень с копной буйных, давно нечесанных черных волос и небритым подбородком на миг остановился, прочитал плакат и решительно вошел в ворота.

В отделе кадров ему сказали:

— Моложе восемнадцати лет в буровой цех не берем.

— Но мне же скоро восемнадцать...

Кадровик терпеливо пояснил:

— Нельзя, молодой человек, — инструкция запрещает категорически.

Понурился, молодой человек повернулся к двери. Он уже взялся за ручку, но дверь открылась, словно от порыва ветра. На пороге стоял плотный пожилой мужчина в старенькой, но чистой спецовке. Белоснежная рубашка с открытым воротом подчеркивала несмываемый загар скуластого лица. Лицо, изрезанное глубокими, как шрамы, морщинами, — упрямое и злое. Большие карие глаза гневно уперлись в парня, метнувшись в сторону кадровика.

— Здоровеньки булы! — поздоровался он и, вынув чистый носовой платок, вытер вспотевшую лысину.

— Здравствуйте, товарищ Бондаренко, — почтительно ответил кадровик. — Чем могу служить?

— Ты уже услужил... Иде ты, бисова душа, выкопав мини водовоза? Вин же спыть, барбос, на ходу, а вышка стоит без воды.

Бондаренко спрятал платок, сказал спокойнее:

— Я бачу, поехала бричка в сторону и туды бигом. Кобыла пасется в пшенице, а твоя кадра пузыри пускаить. Тильки храпоток стойть.

— Ну, а дальше?

— А дальше узаяв я кнут, та як шуганув по пустой бочке. Будто з ружья вдарил. Бижить зараз твоя кадра по степену, аж пятки в задницу влипають.

— Ну, Иван Петрович, вам угодить просто невозможно...

Бондаренко стоял в дверях, загораживая выход и не выпуская парня из кабинета. Темное лицо от злости стало черным.

— Мини угождать нэ треба — ты государтву угождай!

Кадровик закурил, ответил вежливо:

— Стараюсь, Иван Петрович, только кто же сейчас пойдет водовозом. Молодежь рвется к машинам.

— Я согласен водовозом, — заявил парень, с надеждой глядя на Бондаренко.

Старший мастер усмехнулся:

— А кнута не боишься?

— У кнута два конца...

— Як зовуть?

— Витя... Волков Виктор Семенович.

Иван Петрович цепким взглядом оглядел Витю, спросил ехидно:

— А шо ж ты, Семенович, такой лохматый, як настоящий барбос?

Волков насупился, но смолчал. Кадровик угодливо хихикнул:

— Такая мода, Иван Петрович. Вот раньше мы стриглись под бокс, под полубокс, под польку. А эти молодцы черт знает под что. И, шагнув к Волкову:

— Ну, скажите, молодой человек, под кого вы подстриглись?

Витя усмехнулся и, кивнув на портрет, брякнул:

— Под Карла Маркса!

Кадровик поперхнулся и отпрянул к столу. Бондаренко захохотал так громко, что звякнули стекла.

— Гарный хлопец! Беру... для начала водовозом. Но... — он погрозил оторванным до половины пальцем и добавил жестко:

— Гриву снять, побриться, ногти подстричь!

Волков засмеялся:

— Это чтобы вашей кобыле понравиться?

Принимая шутку, Иван Петрович сказал тоном ниже:

— Дурной ты, хлопчик, як пробка: шоб воши не водились, шоб дивчата падали направо и налево, як побачуть тэбэ в городском саду.

Витя смутился и покраснел:

— Согласен...

— Ладно... Помни, шо в бригаде Бондаренко роблють тилько красавцы.

Иван Петрович властно взял Виктора за плечи, повернул лицом к начальнику отдела кадров и пообещал:

— Ни я буду, колы не зроблю з его доброго буровика.

В бригаде Волкова предупредили:

— Бондаренко любит порядок, даже в одежде. А если раскуется лошадь или скрипнет колесо у телеги, то пеняй на себя —

крику будет на всю стену. Правда, он покривит и простит все, а лени и обмана — никогда. Материться не будет. Самое страшное ругательство у него — барбос. Мы и зовем его втихаря Барбосом. Он малограмотный, но буровое дело знает, как бог. Его не проведешь. Если будешь филонить или врать, выгонит без всяких выговоров и предупреждений. Тут ему никто не указ — ни начальник, ни профсоюз.

Волкову понравилась и вышка, и бригада. Пока сливалась вода из бочки, он с завистью смотрел на четкие, отработанные движения сменного мастера и старшего рабочего. А младший рабочий, лихо взбегающий по лестницам на двадцатиметровый копер, напоминал ему матроса из какого-то кинофильма. Да и сама вышка казалась издали гордым кораблем, плывущим в знойном мареве донецкой степи.

Работа водовоза — дело скучное: налил ведром бочку воды в ближайшей речушке и сиди покуривай на передке телеги минут сорок, пока старая добродушная кобыла по кличке Роза тащит телегу до буровой. Роза знала, что передышки не будет весь день и не терялась: чуть зазевался возчик, а она уже в пшенице. Но достаточно щелкнуть кнутом, и она опять на дороге и неторопливо везет тяжелую бочку. Бить Розу Бондаренко запрещал.

— Работяга! — говорил он, похлопывая кобылу по широкому крупу. — Мини бы власть, я б ей орден дал. Кнут, Витя, нужен только для шуму да мух отгонять.

«Долго мне еще мух отгонять, — тоскливо думал молодой водовоз, глядя поверх конской головы на пыльную проселочную дорогу. — Еще месяца три».

— Не журись, хлопчик, — подбадривал его Бондаренко. — Усе настоящие буровики начиналы з водовозов, як настоящие маршалы з солдат. Усему свой час.

Витин час наступил неожиданно — заболел младший буровой рабочий, а заменить его было некем. Иван Петрович повез больного в город, сказал Виктору:

— Не було б счастья, та несчастье пошло: ты вже к нашему делу пригляделся.

Лезь на копер, не стоять же вышке. Но к станку, к насосу и движку — ни шагу. Ответственность уся на мою голову.

Прокляв все известные и неизвестные болезни, он коротко проинструктировал Волкова и строжайше наказал сменному держать младшего только на копре. Подмены заболевшему не было и на следующий день.

Как уговаривал Бондаренко начальника партии, никто не знал. Но приказ о переводе Волкова младшим буровым рабочим появился уже к вечеру. Говорили, что кадровик долго артачился и требовал вторую визу после своего письменного возражения. И начальник наложил вторую визу, приняв на себя всю ответственность за нарушение инструкции.

Спустя десять дней Волков летал по лестнице копра не хуже своего предшественника. Он старался изо всех сил. Уж очень интересно было смотреть, как с огромной глубины в пятьсот с лишним метров буровики извлекали на поверхность земли пробуренную породу, а иногда и уголь.

По проектному разрезу все приблизительно знали, когда будет угольный пласт. Это был самый ответственный и торжественный момент. Хрупкий уголь легко размывался водой, и поднять полностью угольный керн считалось искусством. К встрече пласта готовились. Приезжали участковый геолог — молоденькая Анна Ивановна и Бондаренко. Иван Петрович, пробуивший за свою жизнь больше ста тысяч метров горных пород, встречая новый пласт, волновался больше всех. Он мог на слух определять породы, проходимые коронкой. Подойдет, приложит уху к рычагу станка и говорит:

— Стоп, хлопцы! Песчаник кончился. Идем по сланцу. — И командует, как капитан на корабле.

— Снаряд на-гора! Менять коронку! Чистить скважину. Переходим с дробы на победит!

Не было случая, чтобы он ошибся. К этому все так привыкли, что никто не спорил. Поднимали буровой снаряд, и точно — в столбике керна снизу был сланец, а выше песчаник. Под сланцем ждали уголь.

Оберегая авторитет сменного мастера, Бондаренко никогда не подменял его у станка, хотя стоял рядом и волновался ужасно. В такие минуты лысина его покрывалась потом и он не выпускал из рук носовой платок. Когда удачно поднятый из глубин уголь укладывали в специальный ящик, Иван Петрович счастливо улыбался, морщины его разглаживались и он говорил, лукаво подмигивая окружающим:

— Ну, вот и разбогатела наша держава ще на милён тонн.

Анна Ивановна вежливо поправляла его:

— Поменьше, Иван Петрович.

— Ну, может, трошки меньше, — добродушно соглашался Бондаренко. И все-таки один раз он ошибся. Дневная смена при подъеме бурового снаряда подняла керн не полностью. Небольшой, всего в добрый кулак, кусок породы упал из колонковой трубы и заклинился в скважине, в трехстах метрах от забоя. Бурили дробью так называемый Грушевский песчаник, отличавшийся особой крепостью. Дробовая коронка при спуске стала на этот кусок и дальше не пошла. Попробовали дать буровому снаряду вращение. Снаряд вращался на одном месте с необычным треском и шумом. Пришлось сделать подъем. Сменный мастер ночной смены — молодой, но опытный работник — внимательно осмотрел торец дробовой коронки и заметил тонкую металлическую стружку. Стружка вилась почти по всему торцу коронки, соединяясь с ней только в одном месте, и пружинила.

— В скважине металл, ребята, — тревожно сказал сменный. — Видите, как он режет коронку.

Подъехавший в этот момент Бондаренко услышал эти слова на входе в вышку.

— Дай коронку, — потребовал он.

Не доверяя своим глазам, он попробовал стружку пальцем, приказал:

— Проверить инструмент.

Проверяли долго и тщательно. В стойке для трубных ключей не хватало одного ключа.

— Уронили, барбосы! — шумел Иван Петрович. — Уронили в скважину, сукины дети, и молчок!



Он сел на скамью, вынул платок и, вытирая лысину, простонал:

— Всех в ГеллеУ перетаскать за такое дело: его ж зараз ничем не поймаешь и не вытащишь.

Сменный сказал:

— Теперь не те времена, да и ГПУ нету.

Бригада молчала. Все понимали, что авария очень сложная, что уроненный ключ действительно сразу вытащить нельзя. Дотошно проверили весь инструмент еще раз — ключа не было.

Бондаренко сидел, вытирал лысину и рассуждал вслух:

— Що могло срезать стружку? Металл! Значит, тот окаянный ключ у скважины. Но проверим еще раз. Шукайте, хлопцы. Может быть, он иде-нибудь рядом з вышкою.

Ключа не нашли.

— Спускаемся старой победитовой коронкой, — решил Иван Петрович. — Спробуем догнать его до забоя. Раз он пролетел двести с лишним метров, может, мы его протолкнем еще на триста.

Победитовая коронка при вращении работала мягко. Характерного звука трения металла о металл не было. Иван Петрович прижался ухом к рычагу и слушал долго. Выражение его лица менялось в зависимости от звука. Сначала оно было напряжено, но спокойно. Вдруг послышался щелчок, второй, третий. Обычно темное лицо мастера побледнело, глаза заматались по лицам рабочих.

— Не наче металл! — выдохнул он. — Ключ!

Но тут рычаг дрогнул и легко пошел вверх — снаряд свободно опускался к забою.

— Протолкнули! — обрадовался Волков.

— Не кажи гоп, пока не перескочишь! — осадил его Бондаренко.

Когда подняли колонковую трубу, в воронке торчал кусок Грушевского песчаника.

— Барбосы!!! — гремел старший мастер. — Растеряли керн и никому ни звука! А тут еще стружка на торце, та ключ потерялся!

Волков сказал робко:

— Коронка-то старая. Мы ее сегодня в мехцехе взяли. Может быть, стружка осталась после обработки на токарном станке...

Не срезали полностью, она и прилипла...

Иван Петрович кивнул одобрительно, похвалил:

— Соображаешь... Тилько иде ж ты раньше був?

И, грозно нахмурившись:

— А ключ найти! И немедленно!

Бондаренко ночевал на вышке и лично следил за поисками пропавшего ключа. Но нашли его только днем. Он был неисправен, и, чтобы не спутать его с другими ключами, сменный мастер Семиполонов спрятал его днем под полом, а при передаче смены забыл об этом сказать. Семиполонова Бондаренко ругал, отвел от вышки далеко в сторону, чтобы не слышали остальные рабочие.

— Наш Барбос разбушевался, — определил старший рабочий. — Теперь недели две никому покоя не будет.

В правильности этого предсказания Волков вскоре убедился.

Обходя территорию своего хозяйства, старший мастер нашел в траве болт с гайкой. Волков в это время мыл пол на вышке. Не говоря ни слова, Иван Петрович взял Витю за ухо и повел к этому болту. Волков думал, что мастер шутит, но сильные шершавые пальцы держали ухо крепко. Не выпуская Витино ухо, Бондаренко спросил, указывая обручком искалеченного пальца на злосчастный болт:

— Шо цэ такэ?

Желая блеснуть знанием дела, Волков ответил бодро:

— Болт с гайкой.

— Угу... А сколько вин стоить?

Пальцы, державшие ухо, сжались сильнее.

— Не знаю, Иван Петрович...

— Тридцать восемь копеек, та гайка двенадцать. Усего пятьдесят... От колы б тут лежали гроши, ты б их узав?

— Взял бы, Иван Петрович.

Бондаренко сдал ухо сильнее. Волков даже переступил с ноги на ногу, но стерпел.

— Ты «Капитал» Маркса читал, сопляк?

— Нет.

— Сразу видать... Стригся под Маркса, а великое учение не знаешь! Так ты знай, барбосюга, що увесь капитал считают с ко-

пеек. От у рубли — сто копеек, а ты, стервец, пятьдесят ногами топчешь! А таких барбосов у нас пруд пруди! И я спрашиваю: колы ж мы с такими охладонами тот капитал соберем, щоб построить коммунизм?!

Лицо его побагровело, морщины стали резче. Сдавлив ухо Волкова так, что у него в глазах блеснули слезы, крикнул:

— Пидними болт и сховай его у мий ящик. Ще раз побачу такой бардак, выгону! — И пошел ворча: — Барбосы, ну, барбосы: то ключи теряют, то болты с гайками.

Потирая болевшее ухо, Волков отнес болт в ящик старшего мастера. Этот ящик, размером два на метр и высотой около метра, вмещал столько самых разнообразных запасных частей, что ребята шутили:

— Если сгорит вся буровая, то наш Барбос из своего сундука построит новую.

При перевозках вышки вся бригада проклинала этот ящик — легче было два раза перевезти все оборудование, чем загрузить этот тяжелейший сундук на машину. Подъемных приспособлений тогда не было. Тяжелые грузы поднимали обычно по трубам, волоком. При первой же перевозке ящик чуть не задавил Волкова.

Бондаренко уехал верхом на Розе смотреть новую точку под вышку, а погрузку поручил Семиполонову, разрешив грузить запчасти из своего сундука навалом. Ребята все были молодые и горячие, и все сошлись на том, что ящик надо поднять целиком.

— Иначе будем вошкаться до самой ночи, — сказал Волков.

Восемь человек влезли в кузов машины и тянули ящик двумя крепкими веревками, а четверо толкали его снизу. Виктор пыхтел рядом с Семиполоновым внизу. Ящик довольно легко пошел по трубам, смазанным солидолом, но вдруг лопнула одна веревка. Семиполонов успел отскочить, а Волкову, упирающемуся в ящик плечом, прижало к трубе правую ягодицу и сорвало кусок кожи величиной с ладонь. Рану обильно смазали йодом, перебинтовали. Семиполонов спросил:

— Стерпишь до вечера?

Волков пожал плечами и, морщась, ответил:

— Попробую.

— Добро, — сказал Семиполенов. — Но Барбосу ни слова, а то он нам такой концерт устроит, что в степи все суслики от его крика подохнут.

Веревку сплели вдвое, и ящик погрузили все же целиком.

Вечером Волков явился в больницу. Вместе с врачом дежурила знакомая Виктору молоденькая практикантка из медицинского училища — Зина. Они уже встречались несколько раз на танцплощадке городского сада, и Виктору она очень нравилась. Она была красива, начитанна, с нею было интересно. Но провожать себя не позволяла. В воскресенье Виктор пригласил Зину в кафе и угостил пирожными и какао. Она весело смеялась, слушая рассказы Волкова о Барбосе, о толковании «Капитала», о болте с гайкой. Но когда он небрежным жестом подал официанту десятку и сказал, что сдачи не надо, Зина смеяться перестала. Виктор попытался развеселить ее новым рассказом, но она сурово сдвинула крылатые брови и сказала:

— Мало тебе Барбос уши драл. Ты себя сейчас вед, как настоящий пижон. И надо было снять с тебя штаны и выпороть как сидорову козу.

Входя в перевязочную, Волков Зину не узнал — она стояла у столика с инструментами спиной к Виктору. Волков разделся. Седой и важный доктор попросил:

— Зиночка, снимите повязку.

Она повернулась, узнала Виктора, увидела забинтованный зад и засмеялась:

— Выпорол тебя все же Барбос?

Обнаженный Волков горел от стыда и не знал, что делать. Забыв трусы и брюки, он двинулся к выходу.

— Вы куда? — спросил доктор.

Волков шел к двери.

— Вернитесь, больной!

А Зина, оборвав смех, проскочила вперед и закрыла собой выход. Заканчивая перевязку, она шепнула:

— Прости мне этот дурацкий смех и не спеши. Сейчас доктор выпишет больничный, и я провожу тебя домой.

Она проводила его через весь город, креп-

ко держа под руку. Волков молчал, искоса поглядывая на нежный профиль милого лица и слушая Зиночкину болтовню. В смысл слов он не вникал. Он слушал ее голос, чувствовал на своей руке ее руку и готов был идти с нею на край света. Обработанная доктором рана сильно болела, но на вопрос Зиночки «Как нога?» он соврал, не моргнув глазом: «Отлично».

— Тебе надо лежать дня три. Рана большая — я удивляюсь, как ты терпишь.

Она подсчитала в уме дни недели, сказала строгим докторским тоном:

— Придешь на перевязку в среду на мое дежурство.

Вспомнив, как он стоял обнаженный перед Зиной, Виктор вздрогнул и покраснел. Она сказала:

— Никогда не думала, что ты такой застенчивый.

И, помолчав, добавила таким уверенным тоном, будто прожила долгую жизнь:

— Женщины любят застенчивых, — и смутилась, и замолчала.

От этих слов Витино сердце забилося так, словно хотело выскочить из груди. Они давно миновали дом Волкова и вышли на окраину города. Далеко в степи угасал закат, и последние лучи солнца ласкали небо, крася его в нежно-розовый цвет.

— Где же твой дом? — спросила Зина.

И он соврал второй раз в этот вечер:

— В другой стороне города.

Нежное лицо Зины вспыхнуло светом черней зари:

— Зачем же ты?..

— Я хотел побыть с тобой подольше...

Она сказала сердито, хотя большие серые глаза ее смотрели на Виктора ласково и в них сверкали искорки смеха:

— За злостное нарушение режима тебя надо лишить больничного листа. Жаль, что бросать больного я как медработник не могу по долгу службы.

— Прекрасная служба, — ответил Виктор. — Выздоровливаю прямо на ходу. А насчет больничного не страшно — на работе я буду завтра как штык. Не дай бог Барбос узнает об этом несчастном случае...

Было уже совсем темно, когда они простились у калитки Зининого дома.

— А теперь марш домой, больной, — потребовала Зина.

Волков молчал.

— Тебя беспокоит нога?

— Меня беспокоит сердце...

— Никогда не думала, что застенчивые мужчины могут быть так настойчивы.

Она открыла калитку, но вдруг повернулась и, вскинув руки на плечи Виктора, поцеловала его в губы.

Быстрый и жгучий, как удар тока, поцелуй ошеломил Виктора.

— Зина!

Калитка хлопнула, и он остался один.

Утром Бондаренко с первого взгляда определил, что Волков болен.

— Що з ногой? — спросил он громко.

— Подвернул на танцах, Иван Петрович. — Живет, как на собаке.

— Угу... дило знакомое. А як вона? Красавица?

— Красивее не бывает.

— У моей бригаде уси красавцы!

Бондаренко задумался, вспоминая что-то, и, усмехнувшись, пошутил:

— Работать, дак до сшибу, любить, дак красавицу, воровать, дак милшен.

Вскоре он перевел Волкова старшим рабочим, пообещал:

— Через годик пошлю на курсы сменных мастеров.

В этот день газеты объявили, что старший буровой мастер Бондаренко Иван Петрович награжден орденом Ленина.

Бондаренко пригласил на банкет всех, кроме рабочих, занятых в смене. Предупредил строго:

— Быть с женами. — И глядя на Виктора, добавил:

— И с невестами.

— Она еще не невеста, — начал Волков, — знакомая.

— У моих орлов просто знакомых не бувають. Быть с невестой.

Приглашая Зину, Виктор не посмел передать ей слова Бондаренко. Бондаренко, знакомясь с Зиной, представился:



— Старший буровой мастер Бондаренко Иван Петрович. Хлопцы зовут Барбосом, но я не кусаюсь, потому что зубов вже почти нема.

Первый тост за орденосца произнес начальник партии.

— Слово предоставляется знаменитому буровику товарищу Бондаренко, бригада которого выполнила пятилетний план за три года и десять месяцев! — торжественно объявил начальник отдела кадров.

Иван Петрович встал, бережно держа в истолченной руке хрупкий бокал.

— Я кажу... — начал он, взволнованно глядя на собравшихся. — Я кажу...

В этот момент в открытые окна с улицы ворвался тревожный сигнал автомобиля. Распахнулись двери, и на пороге возник Семиполенов.

— Авария, Иван Петрович! — крикнул он и, поняв, что сорвал все торжество, закончил тихо: — Тройной обрыв. Снаряд заклинен намертво.

Начальник партии встал:

— Сейчас пошлем кого-нибудь. А за вами, Иван Петрович, слово.

Бондаренко осторожно поставил бокал на стол, сказал спокойно:

— Гуляйте, гости дорогие, а я скажу слово свое на буровой. — И, не переодеваясь, вышел.

— Вот так всегда, — жаловалась Исаевна — жена Ивана Петровича. — Ночь, полночь, а ему надо ехать.

Еще много раз переступал Волков порог этого дома. А потом учеба в техникуме, работа в Сибири надолго оторвала его от родного города.

...И вот он последний, знакомый каждым камнем полустанок перед старым шахтерским городом. Но пейзаж изменился разительно. По просторам степи громадные пирамиды терриконов, рядом шахтовые копры.

— Зина, — позвал Волков жену, — посмотри, что тут настроили. А ведь я тут воду когда-то на Розе возил и мух от нее кнутом отгонял. И кожу с задницы сорвал где-то тут, когда грузил ящик Барбоса. Жив ли старик?

Иван Петрович был жив. Он расцеловался с Виктором и Зиной, усадил их за стол и захопотал, поругивая отлучившуюся Исаевну. На вопрос о здоровье махнул рукой, ответил:

— Нема зубов. Усе через машинку: мясо через машинку, огурец через машинку, хлеб тоже через машинку. — Он хитро прищурился, вытер лысину платочком и пошутил:

— Тильки водку пью без машинки.

Волков поставил на стол бутылку. Вошла Исаевна, всплакнула, узнав гостей:

— Иде ж ты, Витя, и кем работаешь? — спросил Бондаренко.

— В Сибири, в горах, начальником партии. Шесть станков у меня.

— Ну, як з планом?

— Выполняем.

Иван Петрович подмигнул и гордо выпятил грудь:

— Мой ученик!

И, поворачиваясь к Виктору:

— «Капитал» изучил?

— Изучил, Иван Петрович.

Бондаренко налил по стопке, сказал горько:

— А я не осилил «Капитал».

Вмешалась Исаевна:

— Какие тут к черту капиталы: хучь курей да кроликов прокормить бы. Первую неделю на пенсии строил им клетки и травку носил. Я уж обрадовалась, думала на старости рядом с мужем поспать. А он утром встал рано, вроде накормить этих кролей, вышел и вернулся аж через неделю. Говорит: аварию ликвидировал.

В дверь тихонько постучали. Исаевна насторожилась, строго поджав губы, шепнула:

— Не вздумай, старый, ехать на буровую.

Вошел сосед, поздоровался, сообщил:

— Ликвидировали аварию на двести седьмой скважине, Иван Петрович. Все делали по твоему совету.

Бондаренко крикнул, усадил соседа за стол, сказал:

— Навчились, барбосы. Обошлись без старика.

Сказал весело, но в глазах его Волков увидел неприкрытую грусть.



СИБИРСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Мы вслушались с детства в протяжный мотив
Народного хора буранов и вьюг —
Так длинно и дивно, глаза позабыв,
Тянуть, и тянуть, и очнуться не вдруг.
Обветренный временем, долог наш взгляд,
Как птиц перелетных наследственный путь,
Как высоковольтные трассы гудят,
Под тяжестью неба провиснув чуть-чуть.
От ветра и солнца березка смогла
С трудом улыбнуться дрожащей листвой,
И тенью смятенной отныне легла
Нам эта улыбка на лица с тобой.
А пение птичье, а белок кругом,
Все души лесные в объятия сгреб
По дебрям тайги — на обрыве крутом —
Всевышнего кедра ночной небоскреб.
Но рушится вечнозеленый завет:
Летит меж стволами бескрылый свинец,
Грохочет железнодорожная ветвь,
И в небе болит реактивный рубец!..
Как будто мы пятой стихии сейчас
Рождение переживаем с тобой,
И сможет ли перебороть в этот раз
Стихийное бедствие, скрытое в нас,
Праправнук природы — разум людской.

В морозном дыме на спине
Широкой лесоруба,
Который плюнул на ладонь
И сбросил полушубок;

И в том, как порох в тополях
Зеленый разорвался,
И льдины кружит на реке
Весенний ветер вальса;

И в том, как в воздухе плывут
На коромысле ведра —
И передразнивают их,
Покачиваясь, бедра;

И в том, как сладостно малыш
Хрумтит своей конфетой;
И как себя мы прячем за
Дымком над сигаретой;

И в том, как смотрит юбиляр,
Растроганный, со сцены
Уже не в зал — в другую жизнь —
Из солнечной системы;

И в неприкаянный момент,
Когда мы все без позы,
Когда легко забыть слова,
Не сдерживая слезы,

Стихотворение ищу,
Как будто знаю точно,
Что где-то облачко висит
Слов, запятых и точек.

ЮРМАЛА

Бросилось сразу:
В крылья одета
Форма глагола —
Птицы, летящей
Противу ветра,
Трудное соло!
На побережье
Повсюду приметна
Доля ошибки:
Сосны скривили стволы —
Или это
Форма улыбки?
Море мелеет,
Стареет планета?
Смута в природе?
Мы научились
Летать на ракетах,
А море уходит...
Время уходит.
Торопится лето.

Надо прощаться!
...Балтика.
Чайка летит против ветра.
Трудно держаться.

ВОЗРАСТ

Я нравлюсь тебе,
Как лесная река
(Такой ты не видела
Даже пока),

В ней звездное небо
Сквозь травы течет...
Всегда неизвестное
Души влечет.

Когда ж ты все реки
И звезды увидишь,
Меня ты полюбишь
Иль — возненавидишь!

А нас обернуло порознь
И вместе уже не раз:
Глядит сквозь военную прорезь,
Как целится, детство в нас.

И все эти годы мирные
В глубоких тылах страны,
Мы все еще эвакуированные
Сиротственники войны.

И все еще оккупации
Последствия метят нас,
Подверженных акселерации
Не тела, но душ и глаз.

Отчетливо в детство, в отрочество
Вошла — до сих пор видна —
Как общее наше отчество,
Отечественная война.

КРЫЛЬЯ

Над суетою, над крышами,
Там, где теряется взгляд,—
Воздух, наполненный крыльями
Сбывшихся наших утрат...

Но не смиришь. Но без робости
Пристальной только взгляни —
Крылья несбыточной радости
Мчат наши лучшие дни!

Так человечеству с возрастом
Разные крылья дает
Полное смыслом, как воздухом:
Небо — скворец — звездолет.

ЗЕМЛЯНЕ

Мы впервые увидели землю издалека
Глазами Юрия Гагарина
И улыбнулись — голубая!

Мы впервые потрогали Луну руками
Нейла Армстронга и Эдвина Олдрина
И испугались почему-то...

И впервые поняли мы,
Как ничтожны наши обиды
По сравнению с Космосом,
Но еще не обнялись.





НЕКТО ВО МНОЖЕСТВЕ ЛИЦ

(Повествование в портретах)

Я приехал в чужой мне большой город, где жил мой давнишний приятель, с которым не виделся лет, наверное, двенадцать. Признаться, я и согласился на эту командировку ради встречи с Алексеем — так звали моего приятеля.

В доме — заметил это сразу — меня ждали, были рады мне. Несколько рассуетившись, Алексей представил меня своей просто и добро улыбающейся жене, легонько подтолкнул ко мне застенчивого — должно быть, в отца пошел — пятилетнего сынишку: «Скажи, как тебя зовут, и дай дяде руку», провел по «хоромам» — обычной трехкомнатной квартире, — «долго ждали, но довольны, и район хороший, тихий», — после чего я был усажен за уже накрытый стол...

Тосты, разговоры, воспоминания, шутки, уют, спешить некуда... Когда людям хорошо, время ускоряет свой бег. Было уже близко к полуночи, когда Алексей сказал:

— А мое хобби все то же — камни. С десяток любопытных есть. Но смотреть надо при дневном свете. Приходи завтра.

Последние слова как-то удивили меня, но я решил, что недопонял друга.

Поговорили еще немного.

— Только ты постарайся пораньше. Чтобы в одиннадцать был здесь как штык. Мать нам наши сибирские пельмени обещает.

На этот раз и самый непонятливый понял бы. Я суетливо, испытывая неловкость, засобирался.

— Ты в какой гостинице устроился? — полюбопытствовал Алексей, подавая мне пальто.

— В... как ее... в «Центральной».

— Такой у нас, кажется, нет.

— Я в том смысле, что она находится в самом центре.

— А, в «Уюте»? По Октябрьской? Возле стадиона?

— Да, да...

— Наша лучшая гостиница. Оправдывает свое название... Так чтоб в одиннадцать — как штык! Ну, будь...

Мне повезло: только вышел на улицу — в белой снежной кисее мерцнул зеленый огонек.

— Куда? — спросил водитель.

Я поразмыслил и сказал:

— На вокзал...

К счастью, в зале ожидания народу было немного, я отыскал свободный диван, преодолев смущение, подложил под голову портфель и устроился на ночлег. Но, к несчастью, мимо проходил милиционер, поднял меня и потребовал документы. Наверное, ему захотелось какого-то разнообразия в скучной службе или он обрадовался случаю проявить власть. Паспорт мой не вызвал в блюстителе порядка никаких подозрений, и он сказал лишь:

— На диванах лежать нельзя, — удалился походкой, говорящей о том, что скоро явится сюда вновь.

Хорошо все-таки, когда в незнакомом городе есть у тебя давнишний приятель, который может растолковать, где находится лучшая гостиница. В два часа ночи я довольно легко отыскал «Уют». Возле администраторского окошка сделал какой только мог несчастный и просительный вид, и надо мной сжалились — дали раскладушку.

Если вы успели подумать, что я обиделся на Алексея, то ошиблись. Обычай... А на обычая чужого, незнакомого вам города (а может быть, другого времени?) обижаться — глупо. Что ж, что они отличаются от обычаев вашего родного села, дома, на которых вы воспитаны с малых лет и которым верны по сей день...

Когда я вспоминаю свое детство, мне кажется, что семья наша состояла не из трех человек — отец, мать да я, — а жил с нами еще и некто во множестве самых разных лиц. Работал тогда отец, как он сам говорил, «в утиле» заведовал складом вторсырья, кособоко и уныло стоявшим на сваях возле железнодорожной станции. А конторой отца был наш дом. Он же был и заезжим домом. Не только для сотоварищей — утильщиков, но и для множества приятелей, знакомых, а зачастую и совсем незнакомых, просто постучавшихся в ночи людей. Я до того привык к ночевальщикам, что если, бывало, наступал вечер, а к нам никто не приходил, не приезжал, мне становилось тоскливо в родном доме, я то и дело прилеплялся к оконному стеклу, выглядывал на пустынную, тоже казавшуюся скучной, дорогу.

— Пап, ну хоть кто-нибудь сегодня у нас будет ночевать?

— Замолчи! — цикала на меня мать. — И так уже житья нет от этих ночевальщиков.

Не слыша или, скорее, не слушая материнских слов, отец говорил:

— Кого-нибудь бог пошлет.

Я ждал, ждал, но так никого и не дождавшись, засыпал.

Просыпался оттого, что мать вытаскивала из-под моей головы подушку и подкладывала фуфайку. Открывал глаза — в сумрачной кухне на лавке сидит человек... Еще не разгадав, кто это, я испытывал чувство радости:

значит, отец еще долго не задует керосиновую лампу, будет чаепитие, начнутся разговоры, запахнет табачным дымом...

МИХАИЛ САМАРИН, сборщик утиля в горнячком поселке Темиртау. Молодой, гибкий, с быстрыми сверкающими глазами враля и фантазера. Он входил к нам, впуская вперед себя какой-то бесовский вихрь, и в доме все смещалось, приходило в движение.

— Петрович! Родионовна! Вовка! — кричал раскинув руки так, будто хотел всех нас сгрести и стиснуть в объятии. — Ах, забодай вас комар, соскучился я по вас!..

— Как конь по кнуту? — с намекающей ухмылкой ронял отец.

Михаил бросал на отца недовольно-укоряющий взгляд. Мол, ну погоди малость, не сразу же.

— Родионовна, чайку! — и по-семейному, безо всяких церемоний, подсаживался к столу, забрасывал ногу на ногу. — Петрович, слышал?

— Бреши, бреши. Что там? — поощрял отец.

— В Китае — хоть ты и не поверишь, но — истинная правда! — мужчина родил! — выдавил Самарин.

— Что ж. Китайцы нация вполне культурная, — замечал отец с серьезностью, за которой пряталась ирония. — Еще где что случилось?

— Американцы открытие сделали! — порывисто выпаливал Михаил.

— Да не ори — оглушишь. Ну и что?

— На Луне — не поверишь ведь! — рай обнаружили! Через телескоп.

— Американцы могут. Нация вполне ученая.

— Так что теперь началось у них! — Самарин потирал руки и ерзал на табуретке.

— Что такое?

— Сплошные, — говорю, не поверишь! — самоубийства! Все торопятся местечко получше в этом раю захватить.

— Смотри, тоже не вздумай. Сначала металлолом отгрузи.

Это был уже не намек, а прямая попытка отца перейти к деловому разговору, что всегда было не по душе Самарину, и он хлопал себя по лбу ладонью.

— Да! Забыл! Что у нас в Темире-то! Не поверишь, Петрович!

— А когда я тебе не верил?

— А я когда-нибудь врал!— говоря такие слова, Самарин рисковал тем, что отец мог уцепиться за них, и Михаилу было бы уже не отвертеться. Он, наверное, понимал это и поспешал с рассказом:— Значит, приняли на рудник одного мужика. Начал работать. Хорошо начал. А потом вдруг стали замечать: постоянно от него пахнет: «Пьешь,— спрашивают,— что ли?» «Нет,— говорит,— вообще в рот не беру». Вот это, думают, наглец. Несет, хоть закусывай, а он отпирается. Потасили его на проверку. Определили: пьяный. А он одно — непьющий и все. Снова давай его проверять. И что, ты думаешь, выяснилось? Не поверишь ведь! Внутри у этого мужика свой, единоличный спиртзавод оказался. Во чудо природы! А?! Железа в брюхе была, которая все сладкое на спирт перегоняла. Вырезали у него это предприятие пищевой промышленности. Трезвый стал...

— Вот видишь. А на языке таких операций не делают?

— До этого, Петрович, медицина никогда не дойдет, не радуйся. Но дело не в том. Через месяц — веришь, нет — запил мужик.

— С чего это?

— С лиха. Баба запилила. Дурачина ты, говорит, простофиля, мешала она тебе? Всегда выпимши ходил. А если б с умом да похозяйски, можно было б трубочку каку-нить приспособить. И пусть бы текла. А статьи за устройство организма нету. Так он добрый! Нате, режьте! А ты знаешь, что они ее присвоили, железу-то? Тюха-матюха! Пилила, пилила и запил мужик. По-настоящему. А какой бабе пьяница нужен? Выгнала. И покатила мужик под гору. Вся причина в ее жадности. Ишь, размечталась! Единоличный спиртзавод хотела иметь! А вышло, что осталась и без завода, и без мужика. Словом, как та старуха у разбитого корыта.

— Вот и ты достукаешься,— замечал отец, пусть и не совсем в лад.

— А чего я-то?— лицо Самарина становилось скучно-виноватым, линиялым.

— Металлолом, спрашиваю, когда отгрузишь?!— уже с накалом произносил отец.

— А как?! Как?!— вдруг взрывался и Михаил.

И начиналась громкая, бурная, с разными жестами перепалка. Походило, что и отцу и Самарину она доставляла удовольствие, хотя последний старательно и оттягивал ее начало. Но это объяснялось тем, что рассказывание небылиц ведь тоже доставляло Михаилу немалое удовольствие.

Вагоны, тара, приказ, управляющий, фактура... Что я в этом мог смыслить? Поэтому к жарким препирательствам отца и Самарина был равнодушен, но имел в них свою корысть: мне хотелось, чтобы они продолжались как можно дольше. Я забирался на перекинутую через колено ногу Михаила и, ухватившись за его бока — ведь руки Самарину нужны были, чтобы размахивать ими в споре,— держался, а Самарин бережно качал меня. По мере того как иссякала перепалка, Самарин качал меня все менее энергично. Вот почему хотелось, чтобы они кричали и махали руками подольше.

— ...Ладно,— примирительно говорил отец,— отгрузи пока хоть шестьдесят тонн...

— Запросто!— заверял Михаил и нежно ссаживал меня с ноги, трепал мои волосы.— Тебе уже на коне пора ездить. Так и быть, Вовка, пригони тебе в следующий раз коня. Маленького. В Сухаринке как раз такого видел. Ты маленький, и конь у тебя будет маленький.

В обещание его что-то мало верилось, но мечтать о коне мне нравилось. Особенно нравилось, что конь маленький и я маленький.

Самарин опять принимался фантазировать и врать. Но отец уже не обрывал его, не язвил, слушал, правда, с ухмылкой. Время от времени качал головой, смеялся:

— Прямо беда, какой ты брехун. И уродился же!..

Самарин принимал это как поощрение и

старался еще пуще, входил в еще больший раж.

Отец любил Самарина и скучал без него. И вообще он питал симпатию к людям нестандартным немножко — только немножко! — неправильным. Слишком правильных не выносил. С такими, считал, разговоры разговаривать, что кашу по тарелке размазывать.

Прежде чем расстаться с Михаилом Самариным, скажу, что лет через тридцать, в больнице, где я лежал и где было много досуга, один больной, человек немолодой и положительный, рассказал случай, подобный тому, что рассказывал Самарин: у одного шофера вырезали железу, которая перегоняла сахар на спирт... Не знаю, почему, я уважал Самарина еще больше.

Может, и правда возможно такое?..

СТАРИК ЛОГУНОВ из поселка Новостройка. Маленький, почти подросткового роста, с белой бородой, почему-то напоминавшей мне штаны «галифе».

Промышлял тем, что ходил по селам и чинил часы, швейные машинки, патефоны, мясорубки, паял, лудил. А также правил пилы, точил ножницы, то есть конкурировал с «вечным странником» — точильщиком Телегиным, был и такой. Естественно, что они питали друг к другу неприязнь. Но активнее проявлялось это со стороны «вечного странника». Логунов же был гораздо сдержаннее. Он относился к своему сопернику с гордой снисходительностью, как мастер божьей милостью к несерьезному подмастерью.

Дело в том, что у Логунова с молодых лет болели ноги. Он сам варил из трав очень пахучие мази и натирал ими на ночь ступни, но помощь от них была, как он сам выражался, неказистой. А промысел его такой, что не потопаешь, то и не полопаешь. И вот он, еще в те же молодые годы, загорелся желанием построить «телегу без коня, пара и карасина» и непоколебимо верил в свой звездный час.

Когда он являлся к нам в дом, отец с искренней заинтересованностью спрашивал:

— Ну, как?..

— Может, братка, — дед Логунов всех называл братками, — в другой раз на ней и прикачу.

И начинал восторженно и в таких подробностях рассказывать о своем изобретении, что у меня создавалось впечатление, будто телега его совсем готова, и я удивлялся, почему это дед не прикатил на ней уже сегодня.

Однако мужики называли Логунова блаженным и не всегда беззлобно посмеивались над ним.

— Как это вовсе без пару? Хоть этот-то... свой пар, после ржанухи, нужен же?

Я обижался за деда Логунова. И верил и ждал, что в следующий раз он непременно прикатит к нам на своей телеге. Вернее, я хотел верить. Бывало, обращался к отцу:

— Пап, сделает же дед Логунов телегу?

Отец долго не отвечал, потом говорил с грустью:

— Сделает, чего ж...

Думаю, отец, как и все мужики, сомневался в затее старика Логунова, но ему, как и мне, хотелось верить, потому и говорил: делает.

Жизнь Логунова, этого алхимика от механики и рыцаря мечты, закончилась трагически. Однажды зимой, в деревне Шартонка, он утонул вместе с хозяевами, у которых остановился на ночлег.

Узнав эту весть, отец сказал с печалью:

— Жалко. Большой мастер был. — И добавил: — Да несчастный...

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ГЛАЗЫРИН. С веселыми искристыми глазами, весь сияющий, будто под хмельком, — никогда, хвалился, в рот не брал — переступал порог, спрашивал:

— Сегодня-то, Петрович, ночевать пустишь?

— Ты не спрашивай, а раздевайся да к столу.

— А чтоб все по-доброму да по-хорошему, вот и спрашиваю.

— Ну, сколько уторговал? — интересовался отец. — Иль опять?

Андрей Иванович запрокидывал голову, заливался смехом:

— А то как же, Петрович? Опять! Бе-да!..
— Говорят, мол, на базаре два дурака: один продает, другой покупает, а, оказывается, есть и третий...

— Я, Петрович, я третий дурак! — и опять смеялся смехом несказанно счастливого человека...

Примерно раз в месяц, по субботам, он приходил из Бенжерепе — восемнадцать километров — с мешком первосортных, почти до лакового блеска вычищенных топорич. Переночевав у нас, ни свет ни заря шел на базар торговать.

Цену за свой товар клал, как и все, — три рубля за штуку. Подходил первый покупатель или просто любопытный, перебирал топорича, рассматривал со всех сторон, пощелкивал пальцем, вообразив насаженный на него топор, «тесал», «колот»... А Андрей Иванович тем временем разъяснял, что топорича его не то что там... Не из какой-нибудь лесной, избалованной влагой березы, а из самого крученого-верченого комля степной, изпод Сары-Чумыша по его, Андрея Ивановича Глазырина, заказу трактористом Мишкой приволоченной. Возьмешь — не пожалеешь, не только самого, а и внуков переживет это топориче. Видя, что, оценивая топориче, покупатель попутно внимает и его словам, Андрей Иванович пускался рассказывать, как он со старухой своей распиливал — сто потов сошло — тот комель, как смекал расколоть получше, как сушил заготовки, не на солнышке сушил, а в тенечке, от дождей и туманов оберегал... Оборвав себя, любопытствовал:

— Сам-то здешний или?..

— Всю жизнь здешний. А то какой.

— Что-то я тебя раньше не примечал. А я из Бенжерепе. Поди, бывал?

Оказывалось, что тот часто бывал в Бенжерепе и хорошо знает того-то и того-то.

Если уж нашлись общие знакомые, то все, разговор будет долгим.

Дальше выяснялось, что в таком-то годе, еще до войны, покупатель гулял в Бенжерепе на свадьбе, на которой один чудак совсем не пил, а, однако, как дьявол, плясал. И тут выяснялось самое неожиданное:

— Так это ж я плясал.

— Ты?!

— Ну!

— А не пил?

— Я же и не пил!

— Хо-о! Здорóво!

— Здорóво!

А тем временем подходил еще один покупатель, облюбовывал топориче и тоже вступал в разговор, подходили и другие. Круг ширился, разговор разгорался... Байки, шутки, истории, восклицания, смех...

Андрею Ивановичу праздник — лучше не надо! Люди все бывалые, занятные, веселые. Ах, мать честная, хорошо-то как, дóбро! И, переполненный самых лучших чувств, он дарил этим, ставшим уже друзьями, людям топорича:

— Прими. Твоих внуков переживет.

Ему совали деньги, мол, ты ж на базаре, на базаре продают, а не раздаривают.

Андрей Иванович обижался.

— Ну тогда, как говорится, спасибо.

Иные же были настойчиво-несговорчивы и насильно запикивали рублевку-другую в карман Андрея Ивановича.

Награждал топоричами Андрей Иванович и торговцев другими товарами, многие из которых были ему уже давным-давно знакомы, и у всех были дома его топорича.

— Ты знай бери. Сгодится. Соседу пожалуешь. Ну, печь-то переложил? Не дымит?.. А твоя, Арсентий, старуха как, поправилась?..

Праздник души — продолжался...

Когда базар постепенно истаивал, Андрей Иванович, раскланявшись в пояс с друзьями-приятелями, шел в бакалейный магазин, а оттуда снова к нам.

— Но зато, Петрович, иззнакомился-я-я... Со всемя! Какого интересу только не наслушался! Народ-то со всего району. Каждый чего-нибудь да расскажет.

— А старуху-то тоже байками кормить будешь?

— А снова наделаю. Руки не отсохнут, — развязывал тощий мешок, запуская в него обе руки, доставал добрую пригоршню лампасеток. — С чайком мы их, Петрович. Вовка, угощайся...

Рано утром, забросив мешок за плечи, он, легкий, поджарый, ровными шажками — в руке батожок — отправлялся в путь, чтобы быть дома, когда у старухи поспеют щи.

Шагая по краю широкого тракта, он то и дело оглядывался. И когда замечал за бугром клубы рыжей пыли, останавливался и ждал.

Шофер, поравнявшись с Андреем Ивановичем, затормаживал.

— Садись, батя! — В зубах папираса.

Дорогие, сатана, любит. А рожа, ишь, какая намухортенная. Пятерку слупит и глазом не моргнет.

— А сколь возьмешь-то?

— Ты садись. Пока едем — договоримся. А понравишься — за так до самого Бийска докачу.

Чего не понравлюсь-то. Да только за так мне не пристало, а этот не осмелится требовать. Сразу видно, хороший парень. Рукой не махал ему, сам остановился. За так нельзя — можно обидеть человека.

— Да мне до Бийска-то начто. Мне до Бенжерепы.

— Садись до Бенжерепы. В миг там будешь.

Хороший парень. А хорошему и заплатить как следует надо. Хотя бы пятерку. Тем паче дорога все на подъем. Да только пятерка — деньги, на дороге ее не подымешь, нам со старухой три дня хлебом кормиться. А этот все равно пропьет. Ишь, рожа-то мятая, со вчерашнего не охмелился еще.

— Да ладно. Тут уж недалече. Да и старый я, растрясешь — раньше дней вознесусь. И чадно. В кабинке-то.

— Не сядешь, что ли?

— Ты уж не обессудь.

— Чудак ты, дед, — выплевывал папиросу. — Топай, раз нравится, — и включал скорость.

Добрый парень. Зря не сел... Да уж ладно. Путь не близкий, но привычный. Потихоньку-потихоньку и дома буду. Ехать, известное дело, не идти, ехать — благодать. Да и пятерки на дороге не валяются. Дойду-у-у... У старухи как раз щи поспеют. Старуха, конечно, первым делом справится, заранее недобро поджав губы:

— Сколь наторговал-то?

Андрей Иванович отдаст ей все, что у него есть.

Она скажет с укором:

— Опять рбздал?

— Дак теперь все сами делают, — скажет Андрей Иванович и, помедлив, добавит: — Ну, а кто не умеет, тем рбздал. Хорошие люди.

Старуха, конечно, осердится, отвернется от него и щей наливать не подумает.

— И стоило, — скажет, — зазря ноги бить.

— Чего это зазря-то? — Андрей Иванович уже успеет высыпать на стол разноцветные, пахучие лампасетки. — Вот. Твои любимые. Ждала, поди, вот и принес. Наливай-ка себе чаю, а мне щец...

Отмя-я-якнет. Не впервой!.. А топоричи — что? Топорич снова наделаю, руки не отсохнут...

Через месяц он снова, оставив мешок с топоричами в сенях, войдет в наш дом.

— Ночевать, Петрович,пустишь? — и засмеется: мол, вот явился, душа просит.

— Опять спрашиваешь? Чего долго не идешь?

— Дак, язви их, наделать же сперва надо. С пустым мешком не пойдешь...

ОДНАЖДЫ ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ в избу вошел в заиндевелой шапке и пальто отец, а следом за ним через порог перекатился колобок, обмотанный лохмотьями.

— Разоблакайся, Лия Исаковна. Будь как дома. Поужинаем и полезай на печь.

Мать незаметно поманила отца в горницу, спросила:

— Кто это?

— Побирושка. От войны бежит. Из Харькова.

— А куда бежит-то?

— Вот до нас добежала. Поработает пока у меня сортировщицей, а там видно будет.

Лия Исаковна, что вдоль, что вширь, с коротко обрезанными седыми волосами, была старушкой подвижной и говорливой, быстро обжила у нас и... стала меня тиранить.

Несчетное число раз на дню требовала:

— Бовик, покажи мне руки.

Я показывал.

— Ой, гвалт. Гва-а-алт! У мальчиков руки должны быть чистыми. Сейчас же иди мой!

— Они и так чистые.

— Гвалт!—приходила в ужас Лия Исаковна.—Какие же они чистые! Иди и мой!

— Не буду!

— Гвалт! Он не слушается! Мальчики должны слушаться старших!—и насильно тащила меня к рукомойнику.

На ночь она заставляла меня таким же образом еще мыть и ноги. А когда я вставал с постели, требовала, чтобы я говорил «доброе утро» отцу, матери и ей. Приучала не оставлять недоеденным кусочек хлеба—а то гоняться будет,—запрещала залезать на сундук и прыгать с него на пол. Разумеется, из духа противоречия я противился выполнять ее требования, она ужасалась, произносила свое «гвалт!» и напоминала, что я мальчик и потому должен слушаться...

Больше всего в кухонном, с застекленными дверцами, шкафчике меня соблазняла фарфоровая сахарница. При всяком удобном случае я подтаскивал к шкафчику табуретку, взбирался на нее, и в сахарнице оставалось все так же много маленьких, наколотых отцом щипчиками кусочков сахара, но уже на один-два меньше. Лия Исаковна каким-то образом тут же обнаруживала, что в сахарнице стало на один-два кусочка сахара меньше и всплескивала руками:

— Гвалт! Он опять немытыми руками унес кусочек сахару! Мальчики не должны ничего брать без спросу!

— Я не брал.

— Он еще обманывает! Гвалт! Мальчики не должны обманывать!..

Такими вот своими замечаниями и восклицаниями Лия Исаковна привела меня к мысли, что лучше бы мне быть девочкой и тогда бы мне все разрешалось и я ничего не был бы должен. Но, как оказалось, это была ошибочная мысль.

Однажды Лия Исаковна строчила себе на машинке юбку из крашеного американского

мешка и что-то напевала. Момент был самый подходящий. Я подтащил к шкафчику табуретку, забрался на нее, снял с сахарницы крышку и... услышал за спиной:

— Гвалт! Он опять...

Я вздрогнул.

— Там раки! Я сегодня утром положила в сахарницу раков!

— Нет,—возразил я уверенно.—Я только сейчас брал, и никаких раков не было,—запустил руку в сахарницу,—не зря же я тащил табуретку и взбирался на нее,—взял кусочек сахару и сунул его в рот.

— Гва-а-алт!—протянула изумленная мной дерзостью Лия Исаковна.—Мальчики должны верить старшим!..

— А обманывать мальчиков нельзя! Гвалт! Раков нет!—сказал я, подражая ей, Лии Исаковне.

Лия Исаковна залилась смехом, но все равно она была немножко смущена моими словами и, мне так показалось, чтобы замять дело с раками, предложила:

— Хочешь, я научу тебя шить?

— Нет,—отказался я наотрез.—Я не девчонка.

Лия Исаковна сникла, закивала:

— Да, да. Жаль, что ты не девочка,—смахнула пальцами слезу.—Если бы ты был девочкой, я бы звала тебя Юлей и научила бы всему, что умею сама.

Я не понимал, почему плачет Лия Исаковна, но мне все равно стало ее жаль. А еще мне стало очень нравиться, что я мальчик, а не девчонка, иначе меня звали бы Юлей и учили шить и вязать.

Потом я узнал, почему плакала Лия Исаковна. До войны она жила с сестрой Розой, у которой была дочь Юля, моя ровесница и тоже светловолосая. Когда на Украину пришли немцы, их всех эвакуировали из Харькова. Поезд, в котором они ехали, попал под бомбежку, и они потерялись. От знакомых людей Лия Исаковна узнала, что будто Роза стала партизанкой, а Юля живет у дальних родственников на хуторе. Но это не точно.

— Вот когда кончится война,—мечтала Лия Исаковна,—мы встретимся и проживем,

как раньше. Юля будет хорошей портнихой, я научу ее. Только скорее бы кончилась война.

— Теперь уж скоро, — говорил отец. — Бежит немец.

Однажды я проснулся среди ночи. В кухне горела керосиновая лампа. Отец и Лия Исаковна сидели за круглым столом друг против друга, и отец рассказывал про то, как город окружили враги. Люди стали страдать от голода и болезней и уже хотели сдаться. Но одна женщина поклялась, что спасет всех. Она пробралась в стан врагов, сказала, что она изменница своего народа. Ей поверили, привели к предводителю и стали угощать. Когда предводитель и его приближенные, напившись, уснули, женщина сняла со стены меч и отрубила голову предводителю. Узнав об этом, враги побежали: на них напал страх. А в честь женщины жители города пели гимны и подносили ей цветы.

Лия Исаковна молча плакала.

Отец сказал:

— Вот что может одна женщина. А ты говоришь...

Я не знаю, что говорила Лия Исаковна отцу, но почему-то долгое время я считал, что та мужественная женщина была не кто иная, как сестра Лии Исаковны, партизанка Роза. Гораздо позже, уже взрослым, я узнал, что отец рассказывал в ту ночь легенду о библейской героине Иудифь.

Сейчас я не могу точно сказать, сколько прожила у нас Лия Исаковна. Наверное, с год. Однажды она вбежала в избу с возгласом:

— Освободили! Освободили! — и бросилась, плача, обнимать мать и отца. — Освободили!

Вскоре она уехала от нас.

Прошло какое-то время, и от Лии Исаковны пришло письмо. Она писала, что живет в каком-то городишке под Харьковом с племянницей Юлей. Сестру Розу замучили гестаповцы. Дальше она благодарила отца и мать за все доброе и звала всех нас в гости, напоминая, что у них там растут хорошие яблоки и груши.

Отец сказал тогда:

— Надо съездить.

Но, конечно, это была всего лишь мечта. В Калтан — к сестре моей Татьяне Федоровне, полчаса езды на поезде — отец собирался по несколько месяцев. А то — в Харьков.

Больше о Лии Исаковне я ничего не знаю. Но племянница ее, конечно же, стала хорошей портнихой — это ясно и так.

ДУСЯ у нас появилась точно так же, как и Лия Исаковна. Однажды в избу вошел отец, а за ним, в лохмотьях тоже, — она.

— Дуська! — воскликнула мать. — Нашлась!

— Нашлась, — сурово сказал отец. — Ремня бы дать, да взрослая уже — стыдно.

В Сталинске у отца был хороший друг Зенков. Сам он погиб на фронте, жена умерла в последний год войны от чахотки. Единственная дочь потерялась. «И куда девка закатилась?» — часто недоумевал отец... И вот она нашлась.

— С кем связалась! Это ж надо! А! — выговаривал отец. — Вот родители были б живы да узнали. Не похвалили бы...

— Ладно, дядя. Я же больше не буду, — сказала, словно отмахнулась от отца, Дуся. Она уже разделась и подошла ко мне. — Вовка-а-а, какой ты большой уже. Помнишь меня?

— Нет, — сказал я.

— А ну-ка вспомни. С папкой к нам приезжал. Помнишь? — стала меня тискать и щекотать. — Вспоминай, вспоминай...

Я увернулся от нее и забрался на печь, тайне желая, чтобы Дуся стала доставать меня и здесь. Но мать уже налила ей супу и усадила за стол.

Дусю одели во все мешочное, обули и устроили работать приемщицей молока на маслозаводе. Придя с работы, она первым делом говорила, что за день соскучилась обо мне и начинала тискать и щекотать меня, потом запевала «Катюшу» или «Синий платочек» и принималась мыть посуду, скоблить полы, трясти половики, носить с речки воду, чистить картошку...

— Вот молодец! Вот хозяйка! — нахваливал отец Дусю. — Хоть ты и Зенкова, а по-настоящему вся в нашу породу.

— Раз в вашу, то, дядь...

— Ну?

— Теть..?

— А?

— Давайте я буду звать вас папой и мамой, а Вовку,— сделала мне «козу рога-тую»,— братишкой. Ладно?

— Зови. Чего ж,— согласился отец.

Мать прослезилась и тем самым тоже выразила свое согласие. Я, довольный, разулыбался.

Все переделав в доме, Дуся наряжалась, подводила сажей брови.

— Куда?— спрашивал отец.

— В клуб, пап. На танцы.

— Опять прыгать, валенки протирать. Да, смотри, недолго...

Когда приходила Дуся из клуба, я не слышал. Утром она пальцами легонько сжимала мой нос, я просыпался, а Дуся, уже в пальто, отбегала к порогу, озорно показывала мне язык и убегала на работу.

Однажды разбудила меня не Дуся, а строгий голос отца:

— Где ночевала?

— У Клавки Осиповой.

— Узнаю.

— Да что я, пап, обманывать вас буду, что ли?— села на край моей постели, накрыла меня собой.— Ага-а-а, попался, который кусался...

Через сколько-то дней Дуся опять дома не ночевала. А потом и в третий раз.

— Все,— сказал отец.— Больше в клуб не пойдешь.

— Сегодня, пап, концерт. Мы с девочками договорились.

— Не пойдешь,— твердо повторил отец и обернулся к матери.— Спрячь все ее наряды.

Днем отец куда-то уходил, вернулся хмурый. Потребовал от матери чаю, а мне велел пойти погулять.

Я побежал на речку Теш посмотреть, как мутная внешняя вода подмывает и обрушивает глинистые берега. Дуся потихоньку подкрадась сзади, обхватила меня руками.

— Ага-а-а, испугался! А я к цыганам хочу убежать. Побежишь со мной?

— Побегу. Только я не хочу, чтобы ты убегала.

— Все равно папа меня выгонит из дому.

— Не выгонит. Мама заступится.

Так оно и было. Когда мы с Дусей вошли в избу, отец ушел в горницу, вытащил из брюк ремень, стал в дверях, сказал:

— А ну, иди сюда!

Дуся опустила голову.

Отец притопнул ногой.

— Кому говорят!

— Папа, я больше не буду.

— Слышал уже,— отец шагнул к Дусе, но мать стала на его пути.

— Федор!

Отец ударил сложенным вдвое ремнем по столу и сказал непонятное мне:

— Хочешь в подоле принести?!

Что было дальше — не знаю: отец опять выпроводил меня «погулять»...

...Радость, что я поймал первого в жизни пескаря, была так велика, что я, бросив на берегу Теш удочку и банку с червями, помчался домой. Влетел в избу.

— Мам, посмотри!..— и осекся. За столом чинно сидел отец, мать, Дуся, худой и бледный пасечник дядя Миша с Кундельской пасеки и Аркашка, младший брат и помощник дяди Миши. На столе стояла еще недопитая бутылка водки.

— Рыбешку поймал?— поднялась навстречу мне Дуся, глаза ее были красные, губы припухли. Взяла из моих рук пескаря.— Молодец!— поцеловала меня в щеку.— А меня замуж отдают. Идти?

— За кого?

— За дядю Мишу.

Дядя Миша мне нравился, он всегда угощал меня медом и рассказывал, когда оставался у нас ночевать, страшные истории про медведей. Но если он заберет к себе на пасеку Дусю, то мне будет скучно. Я подумал и сказал:

— Иди, только пусть он к нам переходит.

— А пасека как?

— Пусть сюда перевезет.

Все засмеялись, а Дуся заплакала.

Дядя Миша все-таки увез Дусю на пасеку. И вскоре там была свадьба. Отец с матерью

взяли меня с собой. Пришел туда и Генка, племянник дяди Миши. Он жил в другом конце нашего села и был сиротой. Взрослые пили медовуху и пели песни, а мы с Генкой купались в небольшой речушке Кундели и резали русянки и пучки. Чего-то забежав за омшаник, я увидел там Дусю. Она сидела на пеньке и плакала.

— Ты зачем плачешь? — спросил я.

Дуся взяла мою руку, серьезно и грустно посмотрела в мои глаза.

— Жалко, что ты далеко теперь будешь.

— Тогда пойдем домой. Папа посердится и перестанет.

— Нет, — отрицательно покачала головой Дуся. — Нельзя домой. Дядя Миша как тут будет? Он больной. Только ты не говори папе, ладно?..

У дяди Миши, как и у Дусиной матери, была чахотка. К концу лета он совсем занемог, и его положили в больницу. Вместо него временно послали на пасеку другого пасечника. Он только что вернулся с фронта и носил военную форму.

Однажды мать снарядила меня и Генку на пасеку. Мы несли Дусе и Аркаше бидон варенца и туюсок сметаны. До пасеки километров восемь. Примерно на середине пути встретили Аркашку, отправившегося по каким-то делам, так он сказал, в село. Аркашка угостил нас кедровыми шишками, и мы разошлись. Отойдя несколько шагов, Аркашка окликнул меня и сказал со злой усмешкой:

— Там новый пасечник твою сестру... охмуряет, — и зашагал дальше.

Приблизившись к пасеке, мы с Генкой стали свидетелями такой картины.

Новый пасечник в сапогах, галифе и исподней рубашке навыпуск тарабанил в дверь пасечниковой избушки и орал:

— Откр-рой! Чего ты ломаешься! Слышь!

Голос Дуси из избушки ответил:

— Не на ту нарвался!

Новый пасечник метнулся от двери к окну. Чтобы он не заметил нас, мы с Генкой укрылись за кустом черемухи.

— Открой, что-то скажу.

— Отойди — пальну.

— Не дури. Можно ж миром.

— Вот Аркашка придет, он тебе такой мир устроит.

— Ну, курва! — новый пасечник зло вырвал из колоды топор и ринулся ломать дверь.

— Ду-ся-а-а! — заорал я.

Новый пасечник воровато швырнул топор в траву возле крылечка и застыл в растерянности. Увидел нас, вымученно улыбнулся.

— О, пацаны! А мы тут шутим.

— Хорошие шутки, — открыла дверь Дуся. Она неуклюже, но крепко держала берданку. — Сволочь! — сказала в лицо новому пасечнику. — Паразит! Скотина! Кобель! — выкрикивала она истерично. Упала ничком на кровать и зашлась в судорожном плаче...

Дома мы были уже за полночь. Дуся сказала отцу, что она пришла, чтобы быть рядом с дядей Мишей и ухаживать за ним.

— Да-а, — вздохнул отец. — Плох он, дочка. Совсем плох...

Хоронили дядю Мишу по первому снегу. Умер он на руках Дуси.

Вскоре Дуся уехала в Калтан на строительство Южно-Кузбасской ГРЭС и вышла там замуж за нашего же деревенского парня Леньку Арсеньева. Года через три Ленька ушел от нее, потому что она не могла родить ребенка. Дуся уехала в Новокузнецк и сошлась с вдовцом с двумя малолетними детьми и, кажется, стала счастлива. Нас она не забывала, приезжала, писала письма. Отца, как и раньше, звала папой, мать — мамой, а меня братишкой.

Отец говорил, что во время германской войны ворожил ему под Краковом слепой поляк: детей у тебя будет много, но живых останется только четверо...

— Все правильно: Татьяна Федоровна, Петр Федорович, Вовка и Дуся.

СОЗДАВАЯ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА, природа, наверное, заботилась больше о его мощи и крепости и совсем забыла о его внешней привлекательности. Если его сравнить, то с буйволом. Ширококопытый, большеголовый, он обладал буйволиной силищей, как буйвол, был угловат и неуклюж, как буйвол, безобиден и смирен.

В гражданскую воевал у Буденного. Белопомяк был, верно, расторопный — изловчился и рубанул Ненашева саблей по кадыку, — но должно быть, слабосильный: большая, приплюснутая сверху, как капустный кочан, голова осталась на плечах. Павел Константинович потерял равновесие и грохнулся из седла наземь. Мыча от боли, загреб пятерней мокрого снега, отправил в рот, проглотил, и алые холодные комки вывалились на отворот полушубка.

— Э-э, конец тебе, браток, — сказал спешившийся возле молодой боец.

«Ду-рак!» — возразил мутным взглядом Ненашев, высвободил исподнюю рубаху, оторвал полосу: протянул бойцу...

В молодости, как цыган лошадей, менял жен. От них убежал в Сибирь. Но к ним же и прибежал. Как в угаре вырывался от одной и тут же попадал в силки, искусно поставленный другой.

Всю Отечественную прошел сапером. Был ранен, контужен. Однако мощи не поубавилось. Руки держали топор крепко. Ходил Павел Константинович по деревням, перекладывал и рубил новые избы, путался с женщинами. Должно быть, окончательно запутавшись, поздней осенью сорок седьмого с тощей кирзовой сумкой явился в наш дом, усталый и грустный.

— Поживу у вас, Петрович.

— Живи. Не жалко.

Закурив самокрутку, Ненашев долго молчал, сидя на лавке, потом выдохнул:

— Какие они все, Петрович, злые.

— Про кого ты?

— Да про женщин.

— Крепко пьешь? — прямо спросил отец.

— С имя повесишься, а не только что...

— Не пей — сразу помягчают. Верно тебе говорю.

Ненашев только вяло и безнадежно махнул рукой.

— Эх, Павел Константинович! Ты один — три работника, руки у тебя золотые, а нос в навозе.

Временно, до плотницкого сезона, Ненашев устроился в пекарню возчиком. Из Малиновки по реке — километров восемь — возил на

лошадях уголь. Вечером приходил домой, раздевался, садился на лавку, сворачивал cigarку и курил, ожидая ужина.

Бывало, спрашивал меня:

— Как, Ова, учитесь?

— Средне, — отвечал я.

— Наверно, задачки трудные задают? А ну-ка решите одну, легкую: летит сорока, за ней — сорок. Сколько всего? — улыбался, верхняя губа растягивалась вширь и поднималась постепенно, обнажая еще одну верхнюю губу, такую же пухлую.

Задачку я находил в самом деле очень легкой и тут же выпаливал ответ.

— Сорок одна.

— Ну-у, Ова. Такими стаями сороки не летают...

Я ломал голову, перерешивал задачку так и сяк — все равно получалась большая стая сорок. Видя, что я вот-вот заплачу, Ненашев говорил отгадку и предлагал еще одну «легкую» задачку:

— Шли столбцом: сын с отцом да дед с внуком. Сколько их было?

И все повторялось...

Если работал Ненашев за троих, то и ел он за столько же. Поэтому мать ставила на стол две сковороды с жареной картошкой или большую миску, точнее — маленький тазик, с толченой, залитой салом, пережаренным с луком.

Мне нравилось наблюдать, как Ненашев ел: без стеснения, но неторопливо, обстоятельно. На стол он не облакачивался, обе руки — в одной ложка, в другой ломоть хлеба — держал навесу. Откусывал хлеба — и тут же поспевала ко рту ложка картошки с такой горой, что рот должен бы был раскрыться на всю ширь, но Ненашев, создавалось впечатление, и вовсе не открывал его. Нижняя губа выдавалась вперед, на нее, как на порожек, ложилось дно ложки, потом выдавалась вперед верхняя губа, накрывала картошку и, пятась, принимала свое нормальное положение — и ложка пуста. Обе руки замерли навесу — Павел Константинович пережевывает пищу сосредоточенно и так легко, будто во рту у него всего лишь какая-нибудь крошка... Снова откусывал хлеба и тут же

поспевала ложка. Уже с капустой... Просто и красиво. На клеенку он не ронял ни крошечки хлеба или картошки, ни капельки рассола, ни соломинки капусты. Во время еды, как правило, молчал или говорил что-нибудь односложное.

Из-за стола Ненашев выходил первым.

— Спасибо, Родионовна.

— А чай? — напоминал отец.

— Нет, Петрович, это не блудо, — вынимал ковш ледяной воды, садился на лавку, поближе к порогу, и сворачивал сигарку.

Спал Ненашев только на полу, хотя у нас была и свободная кровать. Подстилал он свой полушубок, фронтной, с защитного цвета жестким верхом, а укрывался большим отцовским тулупом. Перед тем, как залезть под тулуп, аккуратно, стопкой складывал на краешке сундука свои гимнастерку и брюки.

— О, учись, — тихонько толкала меня в бок мать.

Шепотом она сообщала отцу в горнице:

— Посмотрела: все зашито, все залатано.

Получалось, что Павел Константинович Ненашев был человек во всем положительный, и я недоумевал, почему мать с отцом между собой говорили о нем как о человеке непутевом, забубенном, чуть ли даже не конченном.

Но вот однажды чуть свет — Ненашев только-только собрался на работу — к нам в избу вошла незнакомая востроглазая бабенка. С подчеркнутой степенностью поздоровалась, пристроила возле порога сумку, большой пузатый бидон, развязала платок, опустила на плечи и как-то внезапно грохнулась на колени.

— Па-шень-ка! — взвизгнула и поползла к утрюмо сидящему на лавке Ненашеву. — Вернись, Пашенька! Переменюсь я! Истинный бог, переменюсь!

— Пустое это, Лизавета Власовна. Подымитесь, стыдно: хозяева, мальчик Ова.

— Вернись, Пашенька. Ради Витьки хотя б. В школу, паразит, не хочет ходить. Пусть, говорит, дядя Паша придет. А? Паша?.. Я бражки наварила, погуляешь вволю.

Ненашев сконфуженным взглядом объяснил отцу: вот, мол, какие они, «женьщины».

— Встаньте, Лизавета Власовна.

— Пашенька, вернись. Как я без тебя теперь? Ужель все? А?.. Ты ж сам душеньку мою всколыхнул, словами своими. Я и впустила тебя в сердце свое как Никиту, своего мужа, не выпускала. А ты... Чего взбрындил-то? А?..

Ненашев, насупившись, молчал.

— Ответь, Пашенька... — и к отцу: — Скажите вы ему, добрый человек.

— Человек, может, я и добрый, да только у Павла Константиновича своя голова на плечах. Вон какая большая. Пусть думает.

— Паша...

— Ступайте, Лизавета Власовна, — холодно сказал Ненашев.

Как неожиданно женщина грохнулась на колени, так неожиданно и поднялась. Небрежно смахнула ладонями слезы со щек.

— Значит, не пойдешь? — ее просительный тон переменялся на угрожающий.

— Ступайте...

— Ну погоди, супостат. Вот я на тебя накличу, боров. Так и знай: как мерин холостой сделаешься, свету белого невзвидишь. Заскребе-е-ет, заскребет твою душеньку-то...

— Да ступайте же вы... — нервно сказал Ненашев.

— Попомни мои слова, — подхватила сумку, бидон, потопталась на месте, склонила горестно голову набок, безнадежно: — Хотя одно доброе словечко, Паша. Ради Витьки...

Не получив ответа, шваркнула носом и хлопнула дверь.

Ненашев неловко захрахтел.

— Проворная бабенка, — сказал отец.

— Очень, Петрович, несамостоятельная женьшина. И грязная, необрядная. Присушу, говорит. Не люблю таких слов. Тоска берет, какая нехорошая женьшина. На парнишке, вишь, спекулирует.

— А раньше-то что, не видел, какая она?

Ненашев засопел, выпустил из ноздрей мощные струи дыма, сказал глухо:

— Пока глянулась — не замечал. А как отворотило...

— Тебя-то отворотило уже, а она только в самый раж вошла.

— Дак вот... А парнишка у нее ничего. Жалко парнишку...

А вечером Ненашев домой не пришел. Наверное, около полуночи в окошко постучала Валька Рыбакова.

— Дядя Федя, в бору ваш Ненашев пьяный лежит. Я пробовала его поднять, да никак...

— Во как: «наш Ненашев», — язвительно сказал отец и пошел к вешалке.

Отец и Колька Резуненко, мой двоюродный брат, — по силе под стать самому Ненашеву — притащили Павла Константиновича, как говорится, чуть тепленького. Он то и дело варнякал:

— Петрович, Родионовна, извините... Ох, какая она нехорошая женьшина...

Утром, опухший и хмурый, он сидел на лавке и курил, а отец выговаривал ему:

— Не понимаю, как можно напиться, чтобы не помнить себя. А если б не Валька? Окочурился бы. Был человек — и нету.

— Какой там человек, — вяло возразил Ненашев.

— Золотой человек, да одна беда...

— Беда, Петрович, — согласился Ненашев.

— Все сам понимаешь.

— Тоска, Петрович. Вот взяла притопала.

— Как притопала, так и утопала. Правильно сделал, что отправил.

— Парнишка хороший... Да и стайку начал рубить...

— Дело твое, Павел Константинович...

Ушел Ненашев на работу. Но тот же Колька Резуненко видел его вместе с другими мужиками в чайной. Явился он домой только на другой день и все пытался затянуть «Ой вы, сени, мои сени...», но, видно, голос сорвал уже раньше, и получалось одно сипенье.

Утром он опять сидел мрачный на лавке и курил, а отец ему выговаривал. Со всем Павел Константинович соглашался, не возражал. Потом поднялся и, не надев пулушубка, вышел на улицу. Через какое-то время отец — будто почувствовал недоброе — тоже вышел из избы и вскоре привел Ненашева, бледного и судорожно трясущегося, на щеке его кровоточила царапина, глаза были мутные, блуждающие.

— Дай валерьянки, — велел отец матери. Придя немного в себя, Ненашев сморгнул слезу, посмотрел на отца.

— Накатило, Петрович.

— Вот беда-то, — вздохнул отец. — Не думай ты об них, об шалаболках этих. Вот весна придет — пахать начнем, сеять, потом плотничать податься.

Ненашев согласно покивал и поднял глаза на мать.

— Вы, Родионовна, истопили бы мне баньку...

Ненашев стал прежним Ненашевым: степенным, рассудительным, порой даже веселым. И все-таки пока наступила настоящая весна, он дважды загуливал. Пропадал где-то дня по три-четыре, потом являлся хмурый и виноватый и просил мать истопить ему баньку.

А однажды поздно вечером Ненашев переступил порог и с ревом повалился на лавку.

— Ну, опять, — сказала мать.

— Родионовна, Петрович... ни капли. Живот. Кончаюсь...

— Съел чего? — спросил отец. — Или поднялся тяжело?

Ненашев объяснил, что нагрузил в Малиновке угля, мужики из других деревень позвали в избушку есть картошку в мундирах. Съел штуки три, больше не захотелось. Чуть отъехал — началась резь в животе. Чем дальше, тем хуже — ни сидеть, ни лежать, ни идти.

Мать дала выпить Ненашеву соды, какую-то таблетку — не полегчало.

Тогда отец засветил фонарь и пошел за Клавдией Ивановной, которая была у нас и фельдшерницей, и акушеркой, и врачом всех профилей. Как на грех Клавдия Ивановна чего-то уехала в город. До райбольницы далеко, тем более Теш разлился, и идти было надо вкруговую, через мост, смерть к Ненашеву могла прийти быстрее. Отец ощупал живот Павла Константиновича и поставил «диагноз»:

— Заворот кишок или так чего, — и велел матери: — Живо грей воду, «кружку» готовь.

Всего этого я не видел и не слышал — спал. Проснулся оттого, что Ненашев вскрикнул:

— Ой, кончаюсь...

Он стоял на четвереньках среди избы с приспущенными кальсонами. Отец, опустившись перед ним на колени, приделывал ему «хвост» из тоненькой резиновой трубки, концом «хвоста» был зеленый резиновый карман, его держала мать на уровне груди.

— Кончаюсь, Петрович,— ревел Ненашев.

— Я тебе кончусь. Терпи,— велел отец, зачерпнул из кастрюли воды и матери:— Подыми повыше...

Был у Ненашева «заворот кишок или так чего», теперь этого никто не подтвердит и не опровергнет, но он остался жив. На другой день лежал на полу на своем полужубке белый как стена и блеклым голосом благодарил:

— Спасибо, Петрович, спасибо, Родионовна. Век вам этого не забуду...

Когда посеяли в поле просо и гречиху, Ненашев пошел по деревням плотничать. Явился он под осень все с той же своей кирзовой тощей сумкой. Собрали урожай, разделили. Свою часть Ненашев решил продать на базаре. Запряг в воскресенье нашего быка Мишку, как-то очень проворно сложил на телегу мешки и тронулся со двора.

— Да смотри же, Павел Константинович,— напомнил ему отец.

— Да что вы, Петрович...

— Ну это ни быка, ни Ненашева неделю не будет,— сказала мать.

Она оказалась права только наполовину. К ночи Мишка пришел. Без Ненашева на телеге и без вожжей.

Сам Павел Константинович явился через неделю, трезвый и непривычно веселый, оживленный. Упредив упреки отца, объявил:

— Женился я, Петрович.

— Надолго ли, Павел Константинович?— не скрывая иронии, заметил отец.

Ненашев даже как будто слегка обиделся.

— Хорошая жена. Зря вы, Петрович.

— Дай бог. Ну, а не поживется, так воротайся. Места хватит.

— Да теперь, кажись, основательно. Зову, Петрович, в гости.

— Вот немного управимся и пожалуем.

— А вы, Ова? Идемте к нам сейчас...

Он привел меня в крохотную избенку на самом берегу Кондомы. Насколько убогой была избенка, насколько просто и незатейливо было ее убранство, настолько она была уютной, сверкающей, чистой. Жена Ненашева, тетя Тася, встретила меня как родного, не знала, куда усадить, чем угостить, все что-то расспрашивала, щебетала.

Павел же Константинович сразу, как пришли, стал хлопотать по хозяйству, что-то заносил в избу, что-то выносил, что-то тесал топором, что-то прибывал. Время от времени говорил мне серьезно, как взрослому:

— Вот так, значит, Ова...

Вскоре Ненашев выстроил новый дом. Чуть побольше прежнего, но веселый и аккуратный, как игрушка. Стал Павел Константинович слыть в селе толковым серьезным хозяином, а позже даже сделался заметной фигурой: его поставили заведующим пекарней, той самой, куда он возил из Малиновки уголь.

— Вот что значит разумная жена,— заключил мой отец. Тетя Тася ему понравилась с первой же встречи, и он сказал ей прямо в глаза: «Люди вы оба золотые, но держи его в узде, Настасья». «Пола-а-адим,— ответила на это тетя Тася с тем спокойствием, когда человек верит в свои силы и возможности.— С Пашей можно ладить».

Мальчишки, зная незлобивый характер Ненашева, сочинили на него дразнилку и как только он показывался во дворе пекарни, кричали в несколько голосов:

— Ненаш-пекаш, пекарский боров! Ненаш-пекаш, пекарский боров!..

— Из-лов-лю!— Ненашев делал вид, что сейчас погонится за озорниками, и все, как брызги, разлетались в разные стороны.

В дразнении Ненашева принимал участие и я — нехорошо, конечно, но нехорошо и откалываться от ватаги. И вот однажды мы хором:

— Ненаш-пекаш, пекарский боров!..

— Из-лов-лю!— топнул тяжеленной, будто свинцовая, ногой Павел Константинович и не сделал вид, а побегал за нами, в два прыжка догнал меня, схватил за шиворот. Я закрыл ладонями уши, съежился, готовясь

к худому. Но Ненашев взял меня за руку выше локтя и повлек за собой. Он привел меня в свой кабинет, — если можно назвать кабинетом помещение, где кроме обшарпанного стола громоздился еще и здоровенный шлемообразный чан с дрожжами, — усадил на калеченый, без спинки стул.

— Посидите, Ова, я сейчас.

Через минуту он явился с половиной булки горячего, дымящегося хлеба и с алюминиевой чашкой повидла. Освободил угол стола от бумаг.

— Ешьте, Ова. Досыта ешьте...

А сам стал водить пальцем по бумажке и щелкать костяшками счетов.

Пацаны, видевшие, как Ненашев пленил меня, подстегиваемые любопытством узнать, что же он со мной делает, воровато заглядывали в окно, на лицах их было сострадание ко мне. Но когда они рассмотрели, чем я занят, сострадание сменилось удивлением и откровенной завистью.

Съев все без остатка, что было предложено, я вытер ладонями губы и сказал «спасибо».

Павел Константинович, не отрывая глаз от бумаги, спросил:

— Еще, Ова?

Я постеснялся сказать «да», хотя больше всего на свете любил повидло.

— Тогда на здоровье, Ова. Скажите папке привет от меня...

Заведующим пекарней Ненашев пробыл немного, с год или того меньше. Его не отпустили, но он настоял на своем — ушел.

— Нет, не могу я работать, Петрович, с имя, с женьшинами...

При странном тяготении к особям женского пола, видно, жило в нем и какое-то особое, присущее только ему, чувство неприятия их, даже нетерпения. Исключение, наверное, составляла одна тетя Тася. Может, она была та его единственная и счастливо встреченная? Во всяком случае, они взаимно друг друга почитали, на притеснение с той или другой стороны не было и намека. Павел Константинович выпивал когда хотел, где хотел и с кем хотел, но все было пристойно, в рамках приличия, и никакой дурной славы

за ним водиться не стало. Вполне довольная своей судьбой, тетя Тася то и дело говорила: «Мой Паша, Паша сказал, мы с Пашей решили...»

Павел Константинович оставался благодарен отцу всю жизнь. Часто приходил. Помогал. Рубил баню, менял подгнившие венцы дома. А когда у отца не хватало сена, делился своим.

Вот и в ту весну. Наложили мы с ним добрый воз доброго душистого сена, затянули бастрик, я поехал. Уже за поворотом Ненашев остановил меня.

— Ова! Отдайте-ка вот папке, — бросил на воз новые брезентовые вожжи. — Он знает.

Я сделал как велел Павел Константинович. Отец долго рассматривал вожжи, силился что-то вспомнить, но не мог. Пожал плечами.

— Не знаю. Чего это он...

Или Ненашев что-то перепутал, или отец что забыл. А может, подумалось мне сейчас, вожжи эти Павел Константинович передал отцу взамен тех, без которых когда-то вернулся домой наш бык Мишка? Кто знает? Но такое возможно...

Отец уже лежал в гробу. Кто шел с работы, ехал с поля, заходили проститься, посидеть по обычаю возле покойника, сдержанно и негромко поговорить о нем, о жизни и смерти вообще, повздыхать.

Кто-то, войдя, сообщил:

— Ненашев тоже идет.

— Случаем, не пьяный? — спросили.

— Не-е, трезвый.

Сначала я поглядывал на дверь, ожидая увидеть Павла Константиновича, потом стал выглядывать в окно, потом стемнело, и я уже не ждал сегодня Ненашева. И вдруг — уже за полночь — вопль от калитки, тяжелые шаги по двору и пронзительный деревянный треск. Я выбежал на крыльцо, увидел Ненашева и — не посчитайте за кощунство с моей стороны в такой скорбный для меня час — рассмеялся в душе. Ненашев стоял на крыльце на двух руках и одной ноге, другой не было — она напрочь проломила одну доску и провалилась. Павел Константинович, как тогда, когда стоял на четвереньках со спущенными кальсонами, зывал:

— Пропадаю, Петрович! Кто же теперь-то меня выручит?..

На этот раз выручил его я.

Павел Константинович был очень пьян. Никого и ничего не видя, он протопал к гробу, грохнулся — изба вздрогнула — на колени.

— Друг ты мой! О-о-о!.. — всей массой своей навалился на гроб, табуретки под ним затрещали.

Павлу Константиновичу указали на это, но он ничего не расслышал. Целовал руки отца, мочил их слезами и причитал:

— Вот эти... руки! Сколько раз... меня... Прости, Петрович, друг ты мой...

Он сделался невменяем. От вина и горя. И было несколько таких моментов, когда еще чуть-чуть — и гроб опрокинулся бы. Сестра моя, Татьяна Федоровна, могущая быть очень терпеливой и выдержанной, не сдержалась, заметила строго:

— Павел Константинович, возьмите себя в руки. Вот стул, садьте.

Ненашев несколько пришел в себя, сказал вроде бы совсем трезво:

— Баню я рубил у Полякова. Как мне сказали — я сразу сюда. Как, Ова, хоронить будем? Могилка выкопана? — заплакал. — Нет вашего папки, Ова, нет моего друга.

Уходя, он спросил меня опять:

— Как хоронить-то будем?.. Во сколько завтра вынос?..

Завтра Павел Константинович обещал непременно прийти пораньше. Я в этом ни-когда не сомневался.

Однако он не пришел. Совсем. Загулял...

Иные — я не говорю, злые языки — намекали, мол, тут и вся благодарность его: не пришел даже ком земли в могилу бросить.

Другие — опять же не говорю, злые языки — намекали о другом. Мол, а кто он такой, мой отец, Ненашеву, не брат, даже не сват. Правда не тех и не других. Правду сказал человек, хорошо знавший Ненашева, моего отца и их многолетние взаимоотношения:

— Узнал и загулял с горя. Загулял, забился и забыл...

Слова эти были сказаны Иваном Ивановичем, мужем Татьяны Федоровны, вовсе не ради оправдания Павла Константиновича, а лишь ради истины...

...Последний раз я видел Ненашева несколько лет назад. Возле пивного ларька. Я посмотрел на него пристально, в упор, но он не заметил моего взгляда. Проявлять настойчивости я не стал: был он крепко выпивши — так что путевого разговора у нас все равно не получилось бы — и что-то втолковывал мужику в рабочей одежде. Я посмотрел на него уже со стороны. Совершенно седой. Одрахлел заметно, ссутулился. И все-таки он был тот Ненашев, близкий мне и чем-то дорогой.

В последнее время, говорят, в Павле Константиновиче обнаружились свойства оракула: гадать по руке. Еще, говорят, Павел Константинович стал врачевать. И не какие-нибудь там, а женские болезни. Нет, все-таки что-то странное, если не сказать фатальное, было в его взаимоотношениях с «женщинами». Наконец, говорят, что он полусуто-полусерьезно предлагал назвать улицу, на которой он жил, его именем. «И будет наша улица Ненашева». Шутил, конечно. Тщеславие — совершенно чуждая ему черта.

В другой приезд в родное село — это значит через год — я узнал, что Павел Константинович умер. Было ему за восемьдесят, пожалуй.

Татьяна Тюрина

МИЛОСЕРДИЕ

ОЧЕРК

— Следующий, — негромко произнес дежурный врач по травмпункту и, взглянув на пациентку, крикнул в дальнюю комнату:

— Каталку! Скорее!

Перед ним стояла девушка лет шестнадцати, худенькая, светловолосая. На груди не то рубашка, не то головной платок, мокрый от крови.

Через полчаса в комнате для операционных обработок клинический ординатор Колышкин осмотрел рану. Ранение проникало в область грудной клетки.

Оперировали ее в большой операционной приемного отделения. Я смотрю, как сосредоточен Колышкин. За шесть лет работы это пока третья для него операция на сердце. Потом он скажет, что в основном-то это только ревизия. А сейчас он рассекает скальпелем грудную клетку, не зная еще, что там встретит.

— Зажим, еще зажим! Расширитель! — звучат его короткие команды. И Валентина Приходько, молодая, но уже одна из лучших операционных сестер отделения, спокойно, без суеты, тотчас же подает инструмент, словно знает наперед, что хирургу сейчас потребуются.

Александр ищет источник кровотечения. Вот он. Ранен перикард — сердечная «сорочка», сама мышца сердца не повреждена.

Через несколько минут сестра подавала хирургу иголку с ниткой, и Колышкин накладывал ровные, аккуратные стежки...

Это было первое дежурство, на которое я пришла в первую горбольницу «изучать» жизнь травматологов, мир белых халатов, и надолго заболела им сама.

Больше месяца мой рабочий день начинался не с редакционной планерки, а с врачебного рапорта, который проводил руководитель ортопедо-травматологической клиники. И при слове «шеф» в моей голове возникал образ профессора Витюгова, а не моего редактора.

На рапорте, «на камчатке», у меня было свое место, и мне казалось, что я уже понимала латынь, по крайней мере, мне не нужно было переводить сообщения дежурных врачей. Может, потому, что к вечеру нередко я спускалась в приемное отделение, в санпропускник, и оставалась на ночное дежурство.

Больше месяца я жила в больнице. Я пропиталась ее запахом, мне стали родными стены клиники, а главное — я полюбила этих людей. И вот с тех пор не проходит недели, чтобы я не забегала к ним, теперь уже в гости. Прихожу, когда на душе радость и когда плохо. И порой кажется — людей ближе, чем они, у меня нет.

В праздники обычно составляется усиленная бригада. Помню, на дежурство заступили Михаил Запрудин, заведующий травматологией, много оперирующий хирург, и врач того же отделения, прошедший клиническую ординатуру, Виктор Сиденко. С утра было тихо, а к вечеру началось.

...Его привезла терминальная бригада

«Скорой помощи». И сразу забегали врачи, сестры, нянечки. Через несколько минут он лежал в протившоковой палате.

— Первую резус отрицательную, Виктор, закажи, — это Запрудин.

Виктор надрезал на руке кожу, чтобы можно было быстро обнажить вену и подсоединить капельницу.

— Подвиньте «систему», скорее!

— Подержите голову, вот так.

Я держу голову красивого парня. Его роскошные вьющиеся волосы спадают мне на руки...

— Воды-ы! — стонет он.

— Тише, — успокаиваю его я, — тише.

Мне хочется чуда... Если бы по моим рукам влилась в него моя сила... А он не жилец. Это видно всем, но никто не произносит этого вслух.

Время в операционной словно остановилось.

— Сначала живот, — говорит Запрудин и мажет йодом тело.

— Зрачки широкие, — это анестезиолог. — Сердце остановилось!

Виктор изо всех сил давит на сердце, но оно «не заводится».

Пострадавший лежит на каталке, накрытый простыней, сам бледный как полотно. Надежд на спасение нет. Ранена аорта — повреждение, с жизнью не совместимое.

Вот она, смерть с ее жестокостью и бессмысленностью. Много ли успел сделать доброго этот парень за свои двадцать восемь? Почему и во имя чего погиб так нелепо в собственной квартире от руки пьяного гостя?

...Выйдя из операционной, Виктор направился в гипсовую — там ждал больной, а Михаил сел заполнять историю болезни. Через полчаса Сиденко уже делал скелетное вытяжение мужчине, поскользнувшемуся на дороге, отвезил его наверх, в отделение ортопедии, закреплял больную ногу над кроватью каким-то специальным приспособлением, а внизу, в комнате операционных обработок, Михаил зашивал сухожилия на руке подростка.

Это был действительно сумасшедший день.

«Скорая» привозила пациентов с вывихами и переломами, с ожогами и тупыми травмами живота. Только успевали помочь одному, как «на подходе» был другой. Многие поступали в состоянии глубокого опьянения, куражились перед врачами. И какой выдержкой надо было обладать, чтобы не обращать внимания только на эти выходы, не валиться с ног от усталости, нервного напряжения!

Такая уж эта служба — травматология. Только здесь я поняла, какое коварное зло — пьянство! Ведь сегодня основная травма — не производственная, не «просто» несчастный случай, а результат выпивки. И гибнут люди или подвергают себя смертельной опасности чаще всего в пьяных драках. В драках, причин которых, протрезвившись, уже не помнят. И лечат врачи своих пациентов, внутренне возмущаясь и негодуя. В этом противоречии налицо свой драматизм.

Рапорт вел доцент, правая рука профессора, Михаил Николаевич Никитин. Старший дежурный, ассистент кафедры Фаиз Зубаиров давал справку о больных, поступивших за сутки. Обычно врачи говорят вполголоса, Фаиз предпочитает — вчетверть. Отрывая фразу от фразы, он докладывал, что поступил больной с проникающим ранением в грудную клетку. Давление верхнее — сорок, нижнее — ноль. Без пульса, с острой кровопотерей. Состояние крайне тяжелое.

Он говорил так негромко и медленно, словно оттягивал сообщение о печальном результате. «Признавался бы сразу, что больной умер, чего тянет», — думала я. Но он продолжал подробно перечислять все принятые им меры (здесь это строго требуется). Когда же дошел до того, что утром парень находился в «состоянии средней тяжести», в комнате стало тише. Всех заинтересовал случай, пошли вопросы. Михаил Николаевич сказал, что это настоящая победа хирурга.

Девять лет назад хирургом районной больницы приехал Зубаиров на три месяца на специализацию в наш ГИДУВ да так и остался здесь. Закончил ординатуру, написал диссертацию «Диагностика тупых травм живота». Предложил свою иглу, которая позволяет при пункции живота быстро определить:

есть повреждение внутренних органов или нет. Этой иглой сейчас широко пользуются и называют «иглой Зубаирова».

На дежурствах Фаизу особенно «везет на сердца». На его счету их более десяти, удачно прооперированных. Человек очень сдержанный, молчаливый, он нередко делает эффективные операции, а потом скромно докладывает о них на рапортах...

Льва Александровича Волегова можно уважать уже за одну недюжинную физическую силу. Рассказывают, от кого-то услышал он, что в Мысках продавалась штанга. Поехал, купил. Директор магазина вышел проводить покупателя, посмотреть, как этот человек понесет столь нелегкое приобретение. А тот где-то добыл еще две тяжеленные стальные тарелки, «посадил» их на штангу и отправился с грузом в сторону вокзала.

Да, заведующий приемным отделением Волегов — самый сильный человек в первой больнице. Но его бесспорный авторитет основан не на этом. Он не просто врач, а изобретатель. Он модернизировал рамку для лечения множественных оскольчатых переломов ребер. В отделении лежал мужчина с таким повреждением: на него упала двухтонная плита. Волегов, «заковав» его в свою рамку, трое суток не отходил от больного. И «вытянул».

— Это еще не все, применяем мы и блокаду по Волегову! — сообщают доктора. Сколько энергии и физических усилий затрачивали они, вправляя вывихи шейного отдела позвоночника! Это была процедура болезненная и хлопотливая. Лев Александрович предложил оригинальный укол, после которого дело значительно упрощалось, больной чувствовал себя гораздо лучше.

Биография Волегова сурова и романтична, как и время, которое тогда пережила страна.

Отец, летчик, погиб на войне. Мать была медицинской сестрой и сутками пропадала в больнице. И все-таки очень хотелось видеть своего сына хирургом.

Жизнь его не баловала. В голодные послевоенные годы пацаном попал он в школу военных музыкантов, где провел детство и юность. Отслужил в армии, вернулся домой —

ни кола ни двора. Работал грузчиком, а вечером играл в оркестре на трубе. Много воды утекло прежде чем пришел он в медицинский институт...

В 1966 году курсанту Новокузнецкого ГИДУВа травматологу из Комсомольска-на-Амуре Волегову предложили принять руководство только что организованным приемным отделением нового травматологического корпуса.

Здесь все ученики Льва Александровича. С его отделения начинается школа травматологии. Пока у Волегова не поработал, наверх (приемное отделение на первом этаже) специализироваться на плановых операциях не пойдешь.

Если хочешь разбираться в экстренной травме, иди оперируй — считает Волегов и словно в воду «бросает» новичка в операционную: он первый решает, будет из молодого врача толк или нет.

А экстренная травма — это всегда неожиданность. Это, как говорит Лев Александрович, хирургия военно-полевого времени. И поступают к ним каждый день человек по двадцать, как в хороший медсанбат после боя. И ни один случай не напоминает другой — как математические перестановки... И нет возможности «походить» вокруг больного, досконально его исследовать.

Тут нужна и быстрая реакция, и хладнокровие, и умение не растеряться, моментально определить степень тяжести состояния, чтоб любая неожиданность, любой «сюрприз» не сбился с толку.

Нет, он не считает себя наставником, он только дает возможность молодым оперировать, потому что ценит в людях инициативу и глубоко уважает своих самостоятельных парней. И хотя давно разошлись его ученики по другим отделениям, с экстренной травматологией не расстались, каждый раз возвращаются к ней на дежурствах.

Они не признают красивых фраз, никогда не скажут, что спасают людей, — просто работают, «пашут». Но самое обидное для них «потерять» больного на столе. Этот страх у них где-то в подкорке, в подсознании. И поэтому они до последнего «выкладываются»

на операциях, если надо, ложатся рядом на прямое переливание, не отходя от тяжелых больных неделями.

* * *

В операционной травмотделения была та сосредоточенная тишина, которая бывает только в операционных. Оперировал профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии ректор ГИДУВа Иван Анисимович Витюгов. Ассистировали ему доктора отделения — сильные, опытные. Операционная сестра подавала стальные молотки, крупные скальпели — ничего изящного, ювелирного.

Ассистенты уже вырезали у больной кусочки кости из голени, и сейчас Иван Анисимович начнет пересаживать его на место в осколки поломанного позвонка. Витюгов торопится, ведь эту операцию надо делать быстро. И он это умеет лучше других. Вот и конец. Главное сделано, мышцы и кожу зашьют его помощники. Внизу, в раздевалке, Иван Анисимович сказал мне: «А вы могли быть доктором. Не бойтесь крови». У него было хорошее настроение — операция прошла нормально, все сделано как надо...

Вечером я узнала, что эта женщина умерла.

Закончили работу ассистенты. Ушли к себе. А через полчаса прибежали за ними от анестезиолога с известием жутким и неожиданным: у больной остановилось сердце.

Закрытый массаж не помогал. Быстро «помылись» хирурги, снова встали к столу, принялись за «открытый». Но сердце молчало. Больная «ушла»...

На следующий день утром, как обычно, шел рапорт. Профессор хмуро слушал дежурантов, придирался к докладчикам, был явно не в духе. После рапорта я зашла к нему в кабинет.

Порой мне кажется, что журналистская профессия слишком бесцеремонна: приходится лезть в душу, когда человеку совсем не до тебя. Имею ли я право судить его, тем более, уже знаю: смерть наступила не по вине хирурга. Но мне зачем-то нужны были самочувствие оперирующего, его пережива-

ния... И я, как можно осторожней, спросила о главной причине тревоги.

— Вы же знаете? — он внимательно, будто разгадав мои мысли, посмотрел на меня: — Я уж все предусмотрел, туфли старые надел — только в них оперирую. В нашем деле становишься суеверным... Все шло прекрасно. В два часа мне позвонили из клиники — как обухом по голове ударили.

Его голос был усталым и каким-то надтреснутым. Через несколько минут у профессора начиналась консультация больных. Жизнь шла своим чередом.

Спускаясь по лестнице, я спросила его о том, что давно меня волновало. Я не услышала ответа. Мы вошли в большую комнату, уставленную столами, за которыми сидели курсанты.

— Сейчас мне задали вопрос... Не то, чтобы жестокий, вопрос... житейский. Может ли хирург привыкнуть к смерти больного? — с этого начал Витюгов, как только курсанты сели после традиционного приветствия.

— Бывает, — говорил он, — привозят экстренного больного с повреждениями, не совместимыми с жизнью, и такие больные часто умирают. Врач не будет мучиться этой смертью, он постарается ее забыть. Забыть, чтобы жить дальше, чтобы вылечить десятки других.

— Но вот, — продолжал профессор, — погибает человек неожиданно, неизвестно отчего. Все было сделано, все приготовлено, все замечательно и вдруг — остановка сердца. К такой смерти привыкнуть нельзя. Это наш крест. И мы должны его нести всю жизнь. И еще: как бы строго ни судили хирурга, самый строгий судья — он сам, если он человек честный.

Он глубоко страдал, внешне особенно не проявляя своих чувств, но и не бодрился перед курсантами. Наверное, он десятки раз мысленно «прокрутил» весь ход операции, проверяя каждый ее момент, прежде чем ответить себе: да, все было сделано правильно.

Потом, уже на вскрытии, обнаружилось, что причиной смерти явилась тромбоэмболия легочной артерии — осложнение, которое невозможно было предвидеть.

Знаю, не совсем справедливо рассказ о хорошем человеке, прекрасном хирурге и замечательном педагоге начинать с неудачи. Пожалуй, благодарнее описать драматическую сцену со счастливым концом. Передать, как героически сражались хирурги со смертью, и с легкой душой вывести: «Будет жить!» Тем более, что таких примеров немало. Люди выписываются из отделения с улучшением, а ведь многие из них в свое время были «на грани».

Но эпизод с женщиной меня поразил больше, чем самые яркие рассказы, позволил понять, какие душевные бури приходится переживать врачу, какая нечеловеческая нагрузка становится его буднями.

Рассказывают, к хирургу во время операции подключили электрокардиограф. Каждый критический момент в состоянии больного отражался на его спасителе — экран кардиографа показывал сильный стресс.

Профессор... Само слово уже внушает почтение, робость, столько в нем значительности. Похож ли на профессора в привычном житейском понимании Иван Анисимович? И да, и нет. Он интеллигентен, всегда подтянут, элегантен. И очень прост, доступен. Он вызывает не робость — уважение, большое человеческое доверие.

Может, потому, что он выходец из бедной крестьянской семьи, что на большом пути к высокой должности прошел он все этапы, начиная от военного фельдшера. Может, потому, что в нем заложена неистребимая любовь к людям, к простому человеку, жадный интерес к каждому, встретившемуся ему на пути, будь то молодой курсант, ординатор или пациент. Большинство больных своих отделений он помнит по диагнозам, состоянию, даже по именам, чем и удивляет докторов.

Как-то в перевязочной совершал он неприятную для больного процедуру. Эта маленькая «операция» проводилась под местной анестезией, и Витюгов, набирая в шприц новокаин, спрашивал мужчину о его родном крае — видно, хотел «заговорить» его, успокоить. Но слушал с неподдельным интересом и рассказывал что-то сам. Больной был

коренным сибиряком, а для Витюгова, хотя сам он родом из Белоруссии, это достойно всякого уважения и внимания.

Иван Анисимович умеет расположить к себе любого душевно-доверительным отношением.

Воскресенье. Клиника. В кабинет профессора входит мальчишка лет двенадцати с перевязанной рукой и молчит.

— Ты что-то хотел сказать?

— Я хотел сказать... У меня нерв не перебит?

— А я думаю, ты хотел сначала поздороваться. И почему ты пришел ко мне, а не к своему доктору?— говорил профессор, а сам уже вкладывал свою ладонь в ладонь паренька.

— Ну-ка, сожми мои пальцы, крепче. А теперь эту руку.

Послал его за иголкой, дотронулся ею до кожи мальчика:

— Все в порядке. Нервы твои целы, не пострадали.

Я не умилялась простотой профессора. Понимала, мальчик пришел к нему как к врачу, и Витюгов смотрел его как врач. А между больным и врачом большого расстояния быть не должно.

Его докторская посвящена диагностике и лечению повреждений коленного сустава. На эту тему у него много опубликованных научных статей. Им было предложено немало пластических операций. Витюгов — один из крупнейших специалистов в стране в этой области травматологии.

— Видимо, не случайно в нашу клинику идет большой поток с такими заболеваниями, — рассказывал мне доцент кафедры заведующий отделением взрослой ортопедии В. С. Степанов. — Едут из разных городов, он никому не отказывает.

— А главное — он сумел за короткое время сплотить весь коллектив вокруг науки, вокруг изучения современных вопросов травматологии и ортопедии.

Раз в месяц на рапорте Витюгов раскрывает свой «конduit» и начинает своеобразную переключку. Он, называя фамилию врача, не скупится на характеристику. Что за-

служил — то и получай. И не пытайся как-то отвертеться, оправдаться ссылками на уважительные причины.

Как заметил один ординатор, тратить время на остановки некогда, сама жизнь вперед тащит.

* * *

— Что вы все «Операционная! Операционная!» Вы в гипсовую идите — там главное место детской ортопедии. — Михаил Николаевич Никитин, высокий, осанистый, стоял посреди отделения и горячо доказывал нам преимущества консервативного лечения.

— Мы, когда отделение организовывали, на операции налегали. Из троих детей двоих оперировали и гордились этим, — объяснял он.

— А потом поняли, что нельзя так. Сейчас из троих оперируем одного. А в будущем, думаю, будем обходиться почти без операций. Разве вы не хотите этого?

Говорил темпераментно, энергично, словно наступал на Доровскую, врача отделения детской ортопедии.

— Ну что вы, я только «за», — улыбнулась Галина Семеновна. И мы пошли с ней в гипсовую, а Никитин направился... в оперблок.

...Четырехмесячный Дима жалобно смотрел на мать, которая, стараясь не обращать внимания на слезы сына, помогала врачу, — Галина Семеновна «обувала» ребенка в крохотный гипсовый сапожок.

Детей с травмой в отделении немного, в основном мальчишки. Один из них лежал на каталке в игровой комнате и смотрел телевизор. Он снискал себе славу «парашютиста» — слетел с дерева. Сейчас можно шутить, а когда его привезли с переломами четырех грудных позвонков, было не до шуток.

В палатах дети с врожденными недугами — вывихами, косолапостью. Вадика М. долго возили по разным больницам, прежде чем он попал сюда. Ходить не мог, весь был «скрюченный». А сейчас вон какой ровненький! И рентгеновские снимки хорошие.

Говорят, что ортопедия — это «прямое дитя». Так оригинально «перевел» этот медицинский термин один врач. А если строго

по науке, то ортопедия — исправление деформации.

В кабинете Никитина висит картина, на ней изображены березы. Первая — искривленная, морским канатом привязана к большому шесту. Вторая — в металлических кольцах, выпрямленная... Это своеобразная символика истории ортопедии. Михаил Николаевич пояснил:

— До пятидесятих годов мы делали грубые, примитивные исправления. Настоящее — это, конечно, аппарат Илизарова, стяжки, болты... Но ведь мы не стоим на месте. Нам подавай электронный микроскоп. Что такое вывих бедра? Это ошибка генов. Мы научимся управлять развитием плода, чтобы человек рождался без пороков. Так вот это — будущее! Все люди будут стройные, красивые, как это дерево, — и он показал на третью березу.

Я посмотрела на Никитина: похоже, он несколько не сомневался в том, что предвидел. Это была вера врача, рожденная его нелегкой практикой, мечтой, отцовской любовью к детям.

* * *

Сложно показать все службы этой большой, интересной клиники. Я ни словом не обмолвилась об отделении взрослой ортопедии, ожоговом. Рассказала не обо всех людях, работающих здесь, а почти о каждом из них можно написать если не книгу, то очерк. Как говорится, нельзя объять необъятное. Но вот что меня занимало все это время.

Что же главное в этих людях? Что движет ими? «Это просто наша работа», — нередко слышала я в ответ.

Может ли врач трудиться вполсилы? Собственно, а почему нет? Есть, наверное, такие и среди травматологов. Только я уже знаю, что людей, не троящих себя, не умеющих взять на себя ответственность, здесь не уважают. Если хирург не рвется в операционную, если у врача не на первом месте больные — какой же это хирург, какой же это врач!

Не в этой ли одержимости и заключен так необходимый нам смысл жизни?

Новокузнецк

Г. Колесников

ГОРСТЬ КЕДРОВЫХ ОРЕХОВ

ЗАБАВА

Вот уже несколько дней подряд я донимаю знакомых, а то и незнакомых людей, одними и теми же вопросами: «Покупали ли вы кедровые орехи, кедровые шишки? Где?»

В основном, оказывается, покупали. Не в этом году, так в прошлом. Не в Кемерове, так в Анжеро-Судженске, Мариинске, Мундыбаше, Тисуле, Междуреченске и т. д. Чаще всего брали вареные шишки, с которых легче снимается фиолетовая чешуя. Да и смолы на них нет.

«Припомните, — не отстаю я, — где, в каком именно месте рынка обычно продают кедровые шишки, орехи?» Пытаюсь подсказывать: «Рядом с мясом... Там, где молоко, сметана... Около винограда, персиков, сушеного урюка...»

Смеются люди. Кто же додумается торговать этими орехами в мясном ряду или около ярких фруктов из Средней Азии? С сушеным-то рылом да в калашный ряд? Нет, здесь кедровые орехи места не занимают. Нет их и там, где продают картошку. Чаще всего они пристраиваются около огромных мешков с семечками подсолнуха. Это зимой. А осенью — у входа на рынок. Нередко торгуют кедровыми шишками и около продуктовых магазинов, пивных баров: 25—30 копеек штука. Несерьезный товар!

«Между тем (цитирую В. Чивилихина) наука установила, что мало продуктов может потягаться с кедровым орехом по калорийности и вкусу. «Кедровые сливки», например, которые делают в домашних условиях, чуть ли не в три раза питательнее сливок из коровьего молока! Если сравнивать в сопоставимых единицах калорийность яиц, говядины, молочных сливок, шпика и «кедровых сливок», то получится следующий выразительный ряд: 158, 214, 243, 615 и 688! Поклоняясь экзотическим бобам какао, давайте

не будем приbedняться: у нас есть свой, северный, русский заменитель».

Уточним кое-что. Перед нами два мнения о кедровых орехах. Одно высказали люди, в основном кемеровчане, по моей просьбе. Второе взято из отличного очерка известного писателя В. Чивилихина «Слово о кедре».

С очерка, кстати, все и началось. Сначала я просто хотел справиться: что это за «кедровые сливки»? У одного коренного сибиряка поспрашивал, у другого, третьего — вижу, что люди не больше меня знают, хотя в детстве жили в таежном краю. Короче, после этих неудачных попыток я понял, что задаю людям слишком сложные вопросы. Стал спрашивать о том, что попроще... и неожиданно для себя выяснил, что к кедровым орехам, к одному из ценнейших продуктов, люди вообще-то равнодушны. Ну, а когда пришел к такому выводу, тогда призывные слова В. Чивилихина не приbedняться, гордиться тем, что у нас есть «северный, русский заменитель» бобов какао, как-то сами по себе потускнели.

Действительно, представьте на миг, что все, кто покупает, заготавливает, продавал или продает кедровые орехи, отозвались на призыв писателя, не приbedняются.

Ну и что из этого? На рынках для кедровых орехов отведут лучшие места? Каждую кедровую шишку покупателю подавать будут в ярком целлофановом пакетишке? Вряд ли. Да и не о культуре обслуживания населения у нас речь, а об истинной ценности и сегодняшней значимости одного из лучших продуктов питания.

Наука, безусловно, права: по калорийности и вкусу далеко не каждый кусок говядины может тягаться с кедровыми орехами. Они могут быть украшением самого лучшего праздничного стола. В любом доме.

Однако в Кузбассе я пока не встречал людей, которые бы теперь всерьез принимали кедровые орехи как продукт питания или даже лакомство. И для детей, и для взрослых эти орехи просто забава, заменитель семечек подсолнуха.

Всегда ли так было? Нет, не всегда.

Когда экономически обосновали и проектировали великую Сибирскую железную дорогу (в конце прошлого столетия), то предполагали, что почти седьмую часть грузов — сто тысяч пудов — займут кедровые орехи. Данные эти я взял из очерка профессора Г. В. Крылова «Раздумья о сибирском великане». Там же он пишет, что «...в первое десятилетие за 1899—1980 годы по сибирскому железнодорожному пути ежегодно пере-

возили по 189 тысяч пудов орехов», то есть почти вдвое больше, чем намечали.

В дореволюционной России, особенно в Сибири, кедровый орех действительно был ценным продуктом питания. В наши же дни его и заготавливают раз в 20 меньше, и даже на лакомство он не тянет.

Правда, как-то в селе Красном Ленинск-Кузнецкого района в продуктовом магазине, на самых верхних полках, на которых раньше продавцы выстраивали целые пирамиды из банок рыбных консервов, я заметил невзрачные на вид пакеты. Оказалось, что в них иркутяне расфасовали кедровые шишки. Штуки по три. Получилось нечто вроде сувениров. Однако спроса на них не было.

СЕМНАДЦАТЬ КУЛЕЙ И ОДНА ГОРСТЬ

Прошлым летом затянул я кинооператора кемеровской студии телевидения Бориса Снежко, умеющего и любящего снимать природу, на лесопитомник Анжерского лесхоза. Там работа кинооператору быстро нашлась.

Но вот Борис оторвался от кинокамеры, окинул цепким взглядом широкие гряды саженцев кедра, что зелеными, пушистыми лентами вытянулись одна около другой, еще раз оглядел кромку тайги, в которую большим квадратом будто врезана площадка лесопитомника, спросил озадаченно:

— А взрослые кедровые где снимем?

Здесь, на окраине города, их не было. Неподалеку, правда, выполаживался большой лог, который кое-кто еще, по старой памяти, называл Кедровым. Но он весь был затянут осинкой.

Чтобы снять кедровые, пришлось ехать километров за двадцать в сторону от автострасы. Помогал нам тогда мастер леса Анжерского лесничества Авид Тимофеевич Козлов. Недолго-то и пробыли мы вместе с этим немолодым уже, молчаливым, голубоглазым лесоводом. Однако запомнилась и доброта человека, и как он, сидя на крылечке своего дома, говорил тихо:

— Была рядом тут кедровая. По семнадцать кулей шишки с нее брал! Свалили лесорубы. Прислал я вальщика: «Оставь!» «Бери», — говорит, — уноси пока начальства нет. А оставить не могу. Она, как крамола, с любой стороны в глаза бросается».

Про кедровую свою Авид Тимофеевич рассказывал без спешки и горячности. Ответы давней радости и давней беды отстаивались на сердечности разговора. И как должное я принимал, что для него она всегда была именно кедровой, а не кедром, плодоносящей была,

щедрой, единственной. И в памяти сберегается только такое...

Вскоре после встречи с анжерскими лесоводами наша киносъемочная группа приехала на Кедровский разрез, чтобы рассказать телезрителям, как горняки работают в дни ударной вахты в честь своего профессионального праздника.

Мощное угледобывающее предприятие, четкий ритм, слаженность действий каждого производства в единой технологической цепи, профессиональное мастерство и трудолюбие многих и многих людей невольно вызывало уважение. Но я, видимо, еще не отошел от той горечи, что была в рассказе анжерского лесовода, и теперь, во время киносъемок, уйма вопросов со всех сторон обступали меня, гомонили на разные голоса.

«Что, что общего с кедром, — вопрошали они, — у этих могучих экскаваторов, ревущих автосамосвалов, тепловозов, бурильных машин и вообще у всех работающих здесь людей?»

Общего и впрямь ничего не было. Откуда ему быть? Да и почему быть должно? Вопрос нелепый. Однако я чувствовал и слепую правоту его: ведь разрез-то назван «Кедровский»! «Почему назван, почему?» — отдавалось в висках.

Был у меня запасной вариант, довольно простой и легкий — шугануть все эти вопросы и вопросики, как надоевших воробьев, чтобы вмиг разлетелись, будто их не было. Однако они были. Потому и терпел их, как каждый, кому приходилось идти через трясины и дым сомнений. «Хм! — чвакало где-то рядом. — Сначала, значит, кедр свели, а затем и имя присвоили!»

В такие минуты мне хотелось просто для себя найти в заботах предприятия хотя бы

крохотную, едва заметную, но истинную связь с кедром. Но на угольных разрезах, как известно, основные заботы у людей пока связаны только с добычей угля.

Правда, на темной породе около одного, другого экскаватора я замечал несколько фиолетовых скорлупок от вареной кедровой шишки, а однажды водитель автосамосвала, с которым катался почти весь день, щедро отсыпал горсть свежих кедровых орехов.

— Сам бил шишку? — полюбопытствовал я.

— Что ты! — улыбнулся он. — Нам весь август, до самого Дня шахтера, в тайгу не выбраться.

У водителей тоже была ударная вахта в честь профессионального праздника горняков, им тоже нужны были уголь, план, сверхплановые тысячи тонн. Поэтому водитель то и дело пришпоривал громадную машину. А ря-

дом, у обочины дороги, стояла тайга, в которую, конечно, вырывались горняки отдохнуть, побыть среди зелени, ну и пошпишкарить при случае. Иные, слышал, по мешку кедровых шишек привозили. Зерно в них еще мо- лочное. Не дозрели. Но не ждать же до ок- тября! Тогда, возможно, шишки и сами опа- дут на землю. Только не ты их подберешь... Говорили мы тогда с водителем и о том, что бить шишку так рано нельзя, что это варвар- ство, браконьерство.

— Какое там браконьерство? — удивился он. — Вся эта тайга все равно уйдет под ковш и на отвалы.

— А дальняя?

— И та, — кивнул он, соглашаясь. Правда, точно не мог сказать, когда это произойдет. Но уверял, что так будет:

— Тут же кругом уголь, где ни копни...

ЭХО БЕНЗОПИЛ

Обратите внимание. Для Авида Тимофееви- ча кедра была единственной. Он ее сразу вы- делял в тайге, как хозяйка выделяет, скажем, свою корову из стада. Вальщик леса если и отметил что в этой кедре, то могучий ствол. Ничем другим для него она не выделялась из тысячи деревьев в лесу. А горняки, тот же водитель, что угощал меня орехами? Они видят только места, в которых много угля. Пустыня, тайга ли над угольными пласта- ми — эти детали для профессионального зре- ния не столь важны.

Для Авида Тимофеевича кедра была кор- милицией. Ценность и значимость каждой гор- сти кедрового ореха им принимались в еди- ном равенстве, так же, как, скажем, все мы в каждой горсти пшеницы видим хлеб. Одна- ко «музыку» в тайге уже заказывали другие: лесорубы, живущие «кубиками» заготовлен- ной древесины, или горняки, которые прежде всего беспокоятся о сверхплановых тоннах угля.

Не открою большого секрета, если скажу, что значимость кедрового ореха в наших гла- зах подрезали под корень те же самые бен- зопилы, которыми сведены многие кедррачи. Как только в графе отчетов о заготовках дре- весины все хвойные породы уравнивали, пред- почли их не различать, так сразу же на обочине оказались все, притом самые основ- ные достоинства кедра.

Недавно, всего три года назад, на терри- тории Кузбасса от кедра отвели бензопилу. Добиться этого было не просто. Но хвалить- ся тем, что в нашей области не рубят кедр, пожалуй, не стоит: если дом не горит, то это вовсе не значит, что он красивый. Словом, теперь пора восстанавливать в сознании лю- дей истинное уважение к кедру. При этом обязательно надо бы принимать в расчет, что уважение к нему, а также к его плодам за- таптывалось десятилетиями, на глазах не- скольких поколений.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПАМЯТИ

Как-то около Зеленогорска, молодого пос- елка гидростроителей, сооружающих на реке Томи плотину Крапивинского водохранилища, крупнейшего, кстати, в мире водохранилища природоохранного значения, вышел я к ре- чущке, которую местные жители еще назы- вают Кедровой, хотя кедрчей вокруг дав- но нет. Тут же вспомнил еще речушку, тоже Кедровку, в Горной Шории, по берегам ко- торой также повыврубали кедр. А Кедровый

лог неподалеку от питомника Анжерского лесхоза?.. А сколько еще по Кузбассу таких мест, над которыми лишь блестящими назва- ний витает память кедра? Прильнуть бы ей к родной земле, зацепиться за твердь, явью обозначиться, однако такое уже не под силу. Нужна помощь человека.

Есть ли она?

Да, помощь идет. В горной Шории по бе- регам знакомой мне Кедровки лесоводы Ша-

лымского лесничества высаживают кедр. В Таштагольском лесхозе посадили на двенадцати тысячах гектаров. Только за последние пять лет около трех тысяч гектаров заняли молодые посадки кедр в Анжерском лесхозе, так что со временем должны вернуться сибирские богатыри в Кедровый лог. Каждый год в нашей области высаживают эти культуры на семи тысячах гектарах. Полтора десятилетия кузбасские лесоводы восстанавливают кедровые леса. Начали они это благороднейшее дело одними из первых в стране. Сначала счет вели на сотни гектаров. В 1966 году набрали полторы тысячи. Теперь культуры кедр занимают более 60 тысяч гектаров.

Напомню, что естественного кедр у нас в области немного. Всего 220 тысяч гектаров.

Теперь поставьте рядом эти цифры: 220 и 60. Замечаете? На сегодня, выходит, у нас, в Кузбассе, четвертая часть всех кедров посажена человеком! Конечно, многие культуры кедр посажены недавно. Лишь со временем они станут лесами. Но ведь они есть. Тут дело лишь за временем, надо подождать. Я понимаю: ждать не всегда приятно, но в данном случае можно поучиться терпению... у кедр. Он ждал больше.

...Более 800 лет русские люди знают кедр. За эти века они открыли в нем множество полезных свойств, не перестают и никогда не перестанут восхищаться его красотой. Люди наверняка откроют для себя в кедре еще много нового. Ведь он полон тайн.

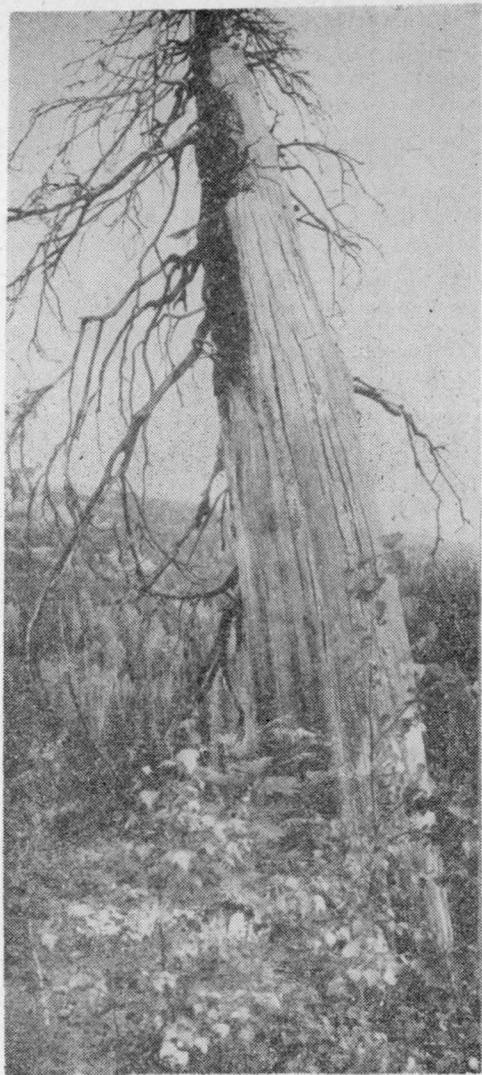
Например, многие, когда говорят о кедре, особенно о неразумной эксплуатации кедров, забывают простое — то, что двадцать лет назад — всего 20! — люди не умели выращивать кедр.

Как же так, спросите? А небольшие кедровые боры в русских монастырях? В Оптиной пустыне, к примеру, где еще Л. Толстой восхищался кедровой рощей?

Что ж, крохотных пятачков кедровника, выращенного человеком, можно насчитать немало. Говорят, под Анжеро-Судженском есть кедровый бор, которому около пятидесяти лет. Но все это, повторяю, крохи. Опыт лесоводов, вырастивших эти боры, в большинстве случаев ушел вместе с ними.

Словом, еще двадцать лет назад, когда Юрий Гагарин огласил космические дали своим позывным: «Я — Кедр! Я — Кедр!» — на нашей старушке-земле не умели выращивать это чудо-дерево. И тут одними из первых сказали свое слово кузбасские лесоводы.

...Не совсем, правда, четко я представляю свое отношение к разрезу «Кедровский». Но, думаю, люди, определившие место для этого



Через пять веков...

угледобывающего предприятия и давшие ему название, — удивительные оптимисты. Они верили, что кедровые леса уйдут из этих мест ненадолго, что они вернуться сюда. Словом, не потому разрез назван «Кедровский», что там были когда-то кедровые, а потому, что будут! Пока же то и дело ловишь себя на мысли, что горняки основательно забыли, почему их предприятие названо так красиво.

КЕДР И ЧЕРТОПОЛОХ

Лет пять назад, по весне, у лесоводов Кемеровского лесхоза «оказались лишними» несколько тысяч саженцев кедра. На свой страх и риск они высадили их на городских землях, на неудобье, в районе железнодорожной станции Ишаново. Но в прошлом году Кемеровский горисполком отвел под мичуринские сады работникам завода химического волокна как раз эти неудобья. Тайное стало явным.

«Повыдергать эти деревья!» — решили будущее садоводы.

На дворе был май. Накануне празднования 35-летия со Дня Победы нашего народа над фашистской Германией комсомольцы Кемерова, многие ветераны труда и Великой Отечественной войны заложили парк Победы неподалеку от подрастающего кедрача. А через день человек двести и подручная техника прикатили в Ишаново, чтобы мигом превратить 49 гектаров незаконно растущего кедра в законный пустырь для своих мичуринских садов. И они выполнили бы свое намерение, но поднялась общественность.

На сей раз кедр отстояли, а затем признали за ним законное право на жизнь около большого города. Я видел, как были рады этому кемеровские лесоводы, работники областного совета ВООП, активисты общества охраны природы. Понимал их. Тоже был доволен происходящими переменами: ведь лет десять назад никто и ахнуть не успел бы, как семилетки кедра оказались бы срубленными.

Вспомните Авида Тимофеевича Козлова, как он упрасивал лесорубов оставить любимую кедр. Всего одну. Тогда не удалось человеку спасти обильно плодоносящее дерево, дерево-сад. Теперь же будущий сад отстояли.

Я не оговорился — сад. В Томской области, например, в припоселковых естественных кедрачах с зарослями малины, где много лет ведется уход за деревьями, с каждого гектара собирают в среднем по полтонны ореха, а на отдельных участках — более двух тонн.

Кедр под Ишаново высажен человеком, растет в культурах и наверняка будет щедрее на урожай. Словом, только с этого сада около пяти веков люди смогут получать каждую осень по 25—30 тонн кедрового ореха, не говоря уже о ягоде.

Пять веков... Подумать только! И на такое добро замахнулись топором... садоводы-мичуринцы. Словно собрались выполоть чертополох.

Невежество и жажда сиюминутной выгоды... Оторопь берет оттого, как много подобного «добра» встречается около кедра. А не они ли свели кедровый орех, этот ценнейший продукт, до уровня забавы? Не они ли многие десятилетия приучали нас принимать орех только как забаву, пренебрежительно относиться к кедру?

А ведь этому дереву нет равных на земле. Кедровые леса нужны нам (цитирую Г. В. Крылова) «...как самые весомые лесные формации, где можно получать из леса такое разнообразие лесных продуктов, какого не дает ни одна древесная порода мира — ни кокосовая пальма, ни мамонтовое дерево, ни бамбук, ни дуб, ни каштан».

Пора серьезно подумать об улучшении охраны кедровых лесов. Одним работникам лесного хозяйства эта задача уже давно не под силу. Может быть, настало время на лето создавать студенческие отряды по охране кедра? На первое время хотя бы в Яшкинском, Тисульском, Новокузнецком районах, где основные кедрачи нашей области.

Не надо забывать и о том, что на территории Кузбасса кедр подрастает на больших площадях. Это ведь культурные посадки, будущие кедровые боры, кедросады. Сейчас, пока не плодоносят, они не очень-то привлекают внимание вездесущих автомоторизованных туристов и просто отдыхающих. Но в недалеком будущем картина может резко измениться, что, конечно же, обернется большой бедой для молодых лесов.

За примерами далеко ходить не надо. Возьмем Новокузнецк. На окраинах этого большого города, на отвалах угольных разрезов, местные лесоводы высадили облепиху, чтобы озеленить как-то унылые пустыри, бросовые, как говорится, земли. Каких великих трудов стоило вырастить облепиху — это, конечно, лучше всего знают они. Но с тех пор, как на сотнях гектаров она начала плодоносить, тысячи любителей отведать солнечной ягоды валят и валят в августовские дни на эти плантации. И если бы эти паломники только обирали ягоду! Нет же, сплошь и рядом они ломают ветви, с корнем вырывают кусты. Работники Новокузнецкого лесхоза вынуждены чуть ли не все силы бросать на охрану посадок. Иначе за один год «любители загородных прогулок» превратят в пустыню эти места.

Словом, об охране кедровых лесов надо думать сегодня.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В САДУ

Весной прошлого года я узнал, что в Горной Шории есть посадки кедра, начавшие плодоносить на десятом году жизни. Такого еще не приходилось слышать. Дело в том, что до сих пор неизвестно, с какого все-таки возраста начинает плодоносить кедр. Большинство лесоводов, у которых я спрашивал, сходятся на одном: на открытых участках он начинает давать плоды лет с двадцати пяти, а в лесу — с пятидесяти.

Правда, за Уралом, в европейской части нашей страны, где, как утверждают порою, сибирский богатырь в культурах растет лучше, быстрее и чаще плодоносит, отмечались случаи, когда кедр начинал цвести на девятом году жизни, а на другое лето давал зрелый плод. Но, повторяю, те случаи зарегистрированы за Уралом, где кедр все-таки «в гостях». Тут же, в Горной Шории, он на своей земле. Поэтому с нетерпением я ждал августа, чтобы не только самому посмотреть созревающие плоды на таштагольских одиннадцатилетках, но и отснять их на кинолентку, показать многим. Особенно садоводам-любителям.

Пока они не жалуют кедр. Лишь изредка увидишь на мичуринском участке это дерево. Тут же, посмотрев телепередачу, и убедившись, что в культурных условиях дерево может плодоносить намного раньше, чем это принято считать, кое-кто, пожалуй, изменит к нему отношение, посадит перед домом или на мичуринском участке несколько саженцев.

Однако отснять на кинолентку эти кедровые не удалось. В конце июля, когда вместе с главным лесничим Таштагольского лесхоза Василием Сергеевичем Вербовским мы пришли на Спасскую гору, что на окраине Таш-

тагола, ни на одном из кедров-подростков шишек не увидели. Их оборвали.

— Много ли их было?— спросил я Василия Сергеевича, чтобы как-то отвлечь человека от горечи.

— На двух кедрах по три шишки видел,— отозвался он.— В прошлом году лишь на одном шишку нашли. Лесхозовский шофер увидел, сказал нам. А теперь по одной на многих было...

Мы побродили немного между ровных рядков пушистых кедров, большинство из которых ростом были чуть выше нас. Разговаривать не хотелось. Главный лесничий, наверное, ругал себя, что не позаботился об охране: через день-другой в Таштаголе, где на базе лесхоза второй год действует единственная в стране межобластная школа передового опыта по выращиванию кедров, должны были приехать лесоводы со всех концов России. Вот подивились бы, порадовались бы люди, побывав в этих посадках. А теперь...

Мне не хотелось думать о плохом. По сути дела, я впервые в своей жизни бродил по кедровому саду. По первому, пожалуй, кедровому саду в Кузбассе, в котором вот уже воруют плоды.

...Дня через два на лесопитомнике Шалымского лесничества Таштагольского лесхоза лесоводы с Сахалина, Тюмени, Алтая, Иркутска, прослышав о том, что «кемеровские телевизионщики» на Спасской горе так и не увидели ни одной кедровой шишки (а они отыскали все-таки одну!), с удовольствием подтрунивали над моей незадачливостью. А я просил кинооператора побольше снимать их лица.

Из времен года

«ВО ДАЕТ!»

Зима отгуляла метельная, многоснежная даже для этих суровых, выдавших виды мест. Домики геологического поселка у подножия Большого Каньма занесло по самые чердаки. Кто не хотел сидеть без дневного света, прокапывал к окнам траншеи. А два или три дома с нижнего краю оказались засыпанными по самые трубы. Только гребни крыш — как перевернутые лодки.

Правда, на коне на крыши никто не въезжал, как это однажды случилось со знаменитым бароном Мюнхгаузеном, когда он путешествовал по России (и лишь, может, потому, что коней в поселке не держали). Но вот гусеничный вездеход, как-то в метельную ночь сбившийся с дороги, остановился в пяти шагах перед дымящейся прямо из снега печной трубой. Водитель сдал машину назад, заглушил мотор и, боясь ехать дальше, потрясенный, пошел домой пешком.

И вот однажды, после этой самой зимы (а точнее — в конце марта), мы с механиком партии возвращались с буровых вышек участка Заозерного. Шли на лыжах вдоль реки Верхняя Терсь. В своем верховье Верхняя Терсь течет меж гольцов, высоченные склоны которых, по-местному крутяки, подпирают русло с обоих бортов. Мы шли довольно высоко по крутяку, по его теневой стороне, потому что пользоваться нижней дорогой, вдоль берега, приказом по партии было категорически запрещено: наступило время схода снежных лавин.

Противоположный, залитый ярким весенним солнцем склон блестел глянцем. Крутые лбы набитых ветрами сугробов нависали над отвесными стенками скал. Ниже по склону торчали из наста пихточки, точно саженцы. Это были макушки взрослых пихт. Все они стояли склоненные в одну сторону — явный признак, что подвижка снега уже началась.

Шли мы уже часа два, лыжня была тяжелой и монотонной. В затишных местах снег

был рыхл, зато на гольцевых взгорках приближался к твердости асфальта, и лыжи юзили по нему. То и дело приходилось падать на четвереньки, чтобы хоть как-то удержаться.

Спутник мой, шедший впереди, вдруг остановился и, показывая назад, крикнул: «Гляди! Гляди!»

Я оглянулся: что такое?

Чуть позади нас, на противоположном склоне, поверхность снега как-то странно, неподобно шевелилась. Наст бесшумно лопался, и вся шевелящаяся масса плыла, образуя язык. С боков прирастали новые языки. Неужели лавина?

Снег пучился, вяло вздымался. Из его сразу же потерявшей блеск текучей массы изредка всплескивали вверх снеговые столбы-фонтаны. Вырвавшиеся нижние сухие слои раздулись в облако. Белесая, искрящаяся по краям кисея накрыла лавину, размывая очертания. Низкий нарастающий гул толкнул меня сначала в грудь, а уж потом ударил в уши.

Лавина всей своей массой тяжелого, слежавшегося снега, в котором мелькали стволы деревьев, даже вроде камни кувыркались, обрушилась на лед реки и проломила его. Сила удара была так велика, что куски льдин выбросило на другой берег.

За короткие минуты поперек узкого каньона вырос, нагромоздился и замер, осыпаясь, высоченный косой холм. Низ холма тотчас же стал темнеть, а сверху все катилось облако искрящейся пыли. Накатилось на наш берег — по нашим разгоряченным ходьбой лицам протянуло колким сквозняком.

Мы стояли больше подавленные, чем завороченные этим яростным зрелищем. Мой спутник, сбив на затылок шапку, растерянно бормотал: «Во дает! Во дает! Ты гляди — во дает!»

Но это было не все. Ниже внезапной плотности русло стремительно замелело, и ледяной

панцирь, оставшись без опоры, грузно просел. Молниями разбежались трещины, разрывая строчки заячьих следов.

Выше же — вода стала угрожающе накапливаться, прибывать. Корявая корка у берегов при этом вздыбливалась и с хрустом заламывалась.

Речная быстрая вода, выплескиваясь и съедая белизну, казалась густой и мазутно-черной. Косые и сейчас слегка померкшие солнечные лучи сюда не доставали.

Уровень воды подымался на глазах — холм оседал, проваливался, будто из него выпускали воздух. Измочаленные, приволоченные со склона деревья обнажались, щерились содранной корой.

Потом остатки холма сдвинуло. Разваливаясь на тысячи кусков, он пополз вниз, а за ним, и через него, и обгоняя, с шипением и клетотом покатил медленный от снежной каши вал. В одном месте он захватил тракторную дорогу, слизнул метров сто и ушел дальше, унося прогромыхающее шипение, оголяя каменные в крошечье льда берега.

Все стихло. Мы перевели дух.

Так и будет теперь катиться этот гибельный для всего живого на его пути вал, пока не

достигнет широкой части речной долины, где и успокоится.

А полынья в десяток километров длиною (мне приходилось видеть их) уже больше не застынет. В морозные ночи, которых еще здесь, в высокогорье, случится достаточно, река будет густо парить и оглашать окрестности почти что летним шумом своих порогов. А на хвое прибрежных пихт нарастет стерильно-белая шуба инея. И будет она такой густой и тяжелой, что лапы, огрузнув, прижмутся к стволам. И долго после того, как шуба обтает и испарится, пихты будут стоять с натруженными, опущенными к земле ветвями.

Вот что значит снежная лавина в тесном каньоне сибирской реки...

Когда мы с моим спутником пошли дальше, он сказал:

— Шестой год работаю в этих местах а такое на моих глазах — впервые. А тебе, считай, повезло, — добавил он.

Я был с ним согласен, потому что я бывал здесь лишь короткими наездами журналистских командировок, а в эту весну — и вообще первый раз.

СЛЕДЫ-ГОРБИНКИ

Мартовский ясный день. В пойме ручья, в тальниковых и осиновых зарослях зайцы набили за зиму многочисленные тропы. Иные из них так крепки, что спокойно выдерживают человека. Теперь снег под весенним теплом просел, и тропы как бы приподнялись, стали горбатыми. Прошел по глубокому снегу лыжник — и тянутся вдоль ручья две виляющие горбинки.

Все, что было в углублении, теперь выпу-

чивается. Лист осины запоздало упал когда-то на снег. Кругом него вытаяло, и стоит ни дать ни взять грибок на белой ножке, в лихо заломленном берегу с зубчатой каймой.

Сойдет снег, обнажится земля, а горбинки кое-где останутся, источая вокруг себя темную ледяную влагу. Потом и они исчезнут, вырастет трава, и особенно густой и сочной будет она в местах этих запоздалых следов горбинок.

ОПТИМИЗМ МОЛОДОСТИ

Крепенький, как гриб-боровичок, поселок этот на берегу Томи много лет назад основали лесодобытчики. Порядки рубленых домов с поднятыми кулачками скворешен, приземистые баньки, дворы с пушистыми кедрушками — все свидетельствует о давнем, устоявшемся житье-бытье.

Но поселок не имеет будущего, он обречен, ибо попадает в зону затопления Крапивинского водохранилища.

Грустно проезжать по его улицам, заросшим пахучей от зноя ромашкой, глядеть на окна в грубоватом, потрескавшемся от времени орнаменте деревянной вязи, зная, что

на этом месте по самые скворешни (так утверждают жители) встанет толща недвижимой воды.

И неожиданно в конце порядка — жилое строительство! Верхом на срубе парень, голый по пояс, встряхивая густыми патлами, ловко гонит топором щепу. Щепы сыплется вниз, устилая землю золотистым кучерявым ковром.

Видение столь необыкновенно, что мы решаем остановиться. С любопытством присматриваемся к парню, потом осторожно спрашиваем, почему он строится, разве не знает — здесь будет море.

Тот, не оставляя инструмента, оборачива-



Мороз и солнце...

ется потным загорелым лицом, охотно откликается:

— А когда оно будет-то — море?

— Ну когда, — объясняем, — наверное года через четыре-пять.

— А, — легко, весело машет головой парень, — хорошо, что не через два месяца!

Мы недоумеваем: почему именно два месяца?

— Да у меня через два месяца свадьба. — И, довольный, он смеется, без усталости размахивает поблескивающим топором.

— Чего ж один, без помощников?

— А вот и не один, бригада моя на обед ушла, счас вернется.

— А ты почему остался?

— А мне нельзя, мне всех скорее надо!

Вот он, оптимизм молодой здоровой жизни. Время четырех-пяти лет, отпущенное прожить здесь поселку, двадцатилетнему жениху представляется огромным, почти бесконечным, как сама жизнь. Вот и машет веселый нетерпеливый человек плотницким топором на дне будущего моря. Даже завидно.

НА ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ

Тяжелая лесовозная машина прошла по заброшенной лесной дороге. Тотчас за ней по всей колее и рядом из земли стали выворачиваться дождевые черви. Машина сотрясла почву, норки начали рушиться, и черви, по-

чуяв опасность, стремительно полезли на поверхность.

Мы шли следом за машиной и очень жалели, что идем не на рыбалку — улов нам был бы обеспечен...

70 ЛЕТ СПУСТЯ

Летом 1914 года ученый М. Д. Рузский побывал в Кузнецке и, между прочим, составил список рыб, обитающих в реках Томь и Кон-

дома. Его отчет, опубликованный в 1915 году, сохранил любопытный теперь для рыбаков-любителей перечень. Вот он: щука,

окунь, налим, ерш, таймень, ускуч (ленок), нельма, сиг, хариус, елец, чебак, язь, пескарь, вьюн, голянь, бычок-подкаменщик, тугун, минога. И по озерам и старицам — карась и линь.

Таким образом, за семьдесят неполных лет исчезли, не оставив памяти, тугун, сиг, нель-

ма. На грани исчезновения таймень, ленок, хариус, которые сохранились главным образом в притоках этих рек. В равнинных притоках Томи как редкость — минога.

А остальные, отмеченные Рузским представители рыбьего населения, как будто бы еще держатся. Ну — молодцы!

НА ЛУГУ

Траву скосили, высушили, сгребли в стога, и на лугу поднялась новая ярко-зеленая мягкая травка — отава.

Ночью выпала обильная роса. Я шел по лугу, в лицо мне светило нежаркое утреннее солнце, и вот впереди, прямо на росной траве, вспыхнула и задрожала радуга. Я шел, и

радуга зыбко, призрачно скользила, отдаваясь, будто поддразнивала.

Собака обогнала меня, скрылась в березовом колке на краю луга, выскочила оттуда счастливая, мокрая по уши. Энергично встряхнулась — и над ней на мгновение тоже вспыхнул кусочек радуги.

СОТКАННЫЕ ЛУНЫ

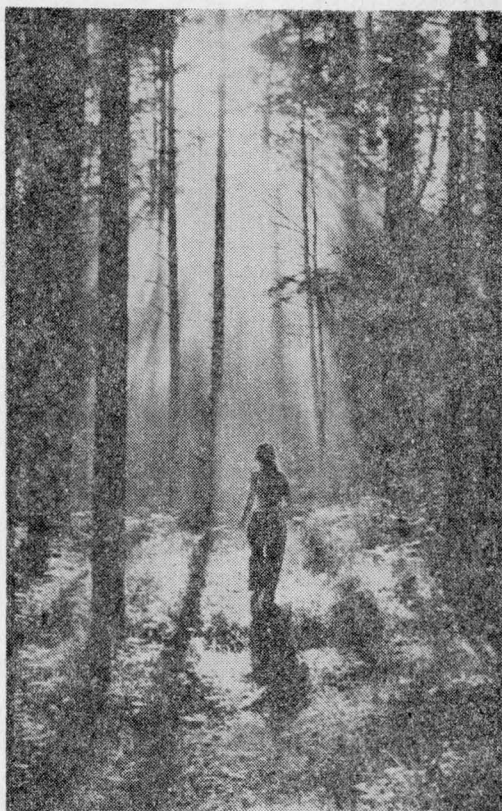
Первое дуновение подступающей осени приняла на себя таежная трава — медвежья пучка. Да и травой-то ее назвать как-то неподходяще — в ее зарослях с головой и «с ручками» скроется рослый человек, а толщиной она у корня бывает с оглоблю.

Пучка выше всех трав, ближе к солнцу. Вероятно, поэтому макушки ее уже сухи, переливисты, покачиваются над массой слегка сгорбленного разнотравья, будто в толпу въехали всадники в золотых шлемах. Ствол ее задеревенел, порыжел, и стоит только задеть его, как на плечи тебе осыплется с звенящим шелестом дождь плоских, как монетки, семян.

Ранним утром августа я вышел на окраину лесной поляны. Над землей плавал туман. Сквозь его шевелящиеся клубы то и дело ослепительно прорезывалось солнце. И тогда начинала светиться молочным огнем паутина. Круглые паутины сети, тяжелые от росы, висели, точно восходящие луны. Одни были величиной с тарелку, другие поменьше, а третьи совсем крохотные — с доньшко стакана. Их было десятки, да нет — сотни. И каждую из лун держала высоко над другими травами уже увядающая медвежья пучка.

Тут я увидел одну сетку, висевшую не как все — горизонтально. В центре ее — в туго натянутом гамачке — сидел седой от росинок паучок. Что можно поймать в сеть поставленную так беспечно-нерасчетливо, вдоль лета насекомых? Разве только осыпающиеся семена пучки.

Но вот поставил же, сидит и упрямо ждет, отождавший. Такой оригинал!



Здравствуй, солнце!

ВОРОБЬИ-УРБАНИСТЫ

Жаркий полдень в индустриальном дымном городе. На горячем асфальте проспекта — лунка, размером с блюдечко. Она полна теплой пыли, мусора. В лунку заскочил воробей, сел, как в ванночку. Взъерошив перья, стал купаться. Мимо шли люди, по проезжей части с шумом мчались автомобили — его это ни сколько не беспокоило. Он купался и иногда от удовольствия закатывал глаза. Такая жизнь ему явно нравилась. Урбанист до мозга костей.

На краешке урны сидит воробей, зорко смотрит по сторонам. Вдруг из урны выскочил второй, сел рядом. Первый тут же спрыгнул в урну. А выскочивший, почистив об урну клюв, стал бдительно смотреть по сторонам. Взаимовыручка!

У МАГАЗИНА

Эвенкийский поселок на берегу реки Нижняя Тунгуска. Низкое небо пасмурно. Стая лаек сгрудилась на крыльце продовольственного магазина. Продавщица гонит их:

— Пошли! С грязными лапами! Пол не успеваем мыть!

Собаки опускают хвосты, отходят на некоторое расстояние, садятся полукругом, но морды у всех — в сторону магазина.

Летом или ранней осенью северным собакам — и ездовым, и охотничьим — работы нет, и хозяева их почти не кормят. Вот и крутятся бедняги возле магазина, благо, делать нечего. Глядишь, что-нибудь да отломится: кто пряник бросит, кто галету, кто кусочек сахара, а кто и брикет каши. И лайки берут эти подношения с достоинством, без драк, без

Весна. С крыши дома свисает кусок оборванного провода. Уцепившись за него, бочком висит воробьишка. По краю карниза скачет возбужденно воробей, призывает к себе подругу. Но той в данную минуту хочется висеть. Тогда воробей не выдерживает и прыгает сверху. Но она так неудобно висит. И воробей срывается, взлетает тотчас на карниз, на исходную позицию. Снова прыгает — и снова неудача. Садится на конек крыши, нахохлился.

А воробьишка, покачиваясь, продолжает косячиться на проводе, чирикать, будто удобнее места на свете нет. При этом думает о супруге так: «Ну вот, надулся. Теперь не будет разговаривать три дня. Ох, уж эти мужчины. Вот возьму и уйду завтра к маме...»

заискивающего виляния хвостом.

Двое бородатых парней в выгоревших на солнце и выполосканных дождем энцефалитках, присев на ступеньку, обедают — едят консервы с сушками. Банку бросают. Рыжая громадная лайка аккуратно (чтобы не порезаться) берет зубами банку, без спешки отходит, ложится. Держа банку в лапах, как кость, тщательно вылизывает.

Ну, а грязные лапы — так ведь дождливая погода, куда тут денешься? У людей вот тоже — на обуви грязь, но их продавщица от магазина почему-то не гонит.

Лайки, конечно, об этом между собой не говорят — они для этого слишком умны. Зачем говорить о том, что и так всем ясно, кроме злой и крикливой продавщицы...

НОЧНАЯ КАНОНАДА

Днем еще сохранялась плюсовая температура, покрывал дождь, но к вечеру небо очистилось. Накатили ранние сумерки, и враз резко похолодало.

Когда я уходил спать, собаки под избушкой уже возлились, устраиваясь в своем соломенном логове — верное доказательство того, что ночь будет заморозной.

Проснулся я глубокой ночью от гула докатившегося выстрела. Потом выстрел повто-

рился, но уже отдаленно, потом еще. Небольшая пауза — и вдруг бабахнуло совсем рядом. Я невольно вскочил, стал кое-как в темноте одеваться.

На крыльце, куда я вышел, лицо мое, еще млевшее от тепла постели, будто обожгло крапивой. Я посветил на термометр — ого, минус двадцать пять!

Небо яро и безмолвно горело звездами. А стылый стекленеющий вокруг лес полнился

переключкой то мелких и частых, то оглушающих и редких, похожих на ружейные, выстрелов.

Здесь когда-то была хвойная тайга, ее вырубали, на месте ее вырос осинник. Теперь осинник был уже стар, рыхл, каждое дерево в обхват. Многие расщепило ветрами, расшатало на слабом грунте, однако деревья еще жили. И вот захваченные врасплох первым

обвальным морозом, не успев выгнать из себя соки, они возвещали о своем несчастье гулом оглушительно лопающихся жил.

Я ушел и лег и долго лежал, слушая тревожную незатихающую канонаду.

Позже я видел на стволах эти морозобойные раны-трещины. Иные достигали нескольких метров — как кто гигантским ножом рассек.

ЛАСОЧКА

На закаменевшую землю выпал первый снег. Он был еще неглубок и так пушистосух и невесом, что уроненная мною рукавица пробила его до самой земли, подняв искристое облачко.

А когда я брал дрова, из-под поленицы

выскочила гибкая беленькая ласочка. Стрельнув на меня быстрыми бусинками глаз, с испугу нырнула под снег и так стремительно побежала там, что снег весело пенился над ней, четко обозначая путь ее бегства — ко второй поленице на берегу ручья.

ГЛУХОЕ НЕНАСТЬЕ

После хлесткого снегопада с дождем — завернул мороз. Стволы деревьев покрылись ледяной пленкой и теперь стоят, как сосиски в целлофане. Сверкающая пленка — на всем: на заснеженных кучах валежника, стенах построек, на дудках зонтичных трав, еще торчащих из мелкого и тоже обледенелого снега.

По дудкам запрыгала с коротким жалобным посвистом мелкая синичка, тщетно пытаясь проклянуть скользкий панцирь, достать спрятавшихся на зиму насекомых, всяких там жучков-паучков — ее главный продукт питания в эту пору.

Посыпалась с низкого неба сухая крупа — и зашелестело, зазвенело, запотрескивало во-

круг. Заяц, сидящий под вершинкой упавшей осины, застриг ушами воздух. Таинственный звук шел отовсюду — и ниоткуда конкретно. Зайцу стало жутко, потому что в этом обволакивающем шелестении мог утонуть, спрятаться шумок истинной опасности.

Тревожное, глухое, словно заторможенное время предзимней непогоды. Но не будь его, как бы мир этот смог познать истинную цену другим временам — росному и ягодному августовскому утру, или зимнему с морозцем солнечному деньку, или ночному апрельскому ветру, задувающему в норы и дупла терпкий дух позабытой зелени...

Н. Бейлина

ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ

О книге Е. Цейтлина „Всегда и сегодня“ *

Взаимоотношения между писателями и критикой всегда были непростыми. Очень часто критики, причем не только критической солью, но и критическим сахаром, наносили писателям незаживающие раны: как и все люди, писатели нуждаются не столько в похвалах, сколько в понимании. Уж на что Чехов был терпимым человеком, а и он писал с горечью, что из критиков на него произвел впечатление один Скабичевский — тем, что предсказал ему смерть под забором... С другой стороны, если бы не критика, откуда бы писатель знал — не глас ли вопиющего в пустыне все его творчество? Балерины упражняются перед зеркалом, у спортсменов есть тренер, актер и музыкант чувствуют непосредственную реакцию зала, художник может прийти на свою выставку, а писатель?.. Выступления читателей на «встречах» дают ему в этом смысле очень мало: это похоже на то, как если бы человеку, никогда не видевшему себя в зеркале, другие люди пытались рассказать, как он выглядит. А единственное зеркало литературы — критика.

А зеркало она — капризное. Не все и не всех отражает. Вот, например, держалась у нас традиция — судить о писателях «обоймами»: либо в статье писать о целой обойме —

такие-то отразили то-то, либо об одном авторе, но извлеченном из той же обоймы или же к ней подверстанном. При таком подходе еще кое-как поймешь, чем писатель X похож на писателей Y и Z, но непонятно, чем он от них отличен, а ведь в этом отличии главное, именно благодаря ему он и писатель... Что уж говорить о том, кто в обойму никогда не попадал, о ком, стало быть, разрешено критикой судить, что писатель он второго сорта, что ли, без знака качества...

Или другая традиция: критик выступал как оценщик; обладая некоторым запасом формул, выбирал для данной книги наиболее, по его мнению, подходящие и на том считал свою миссию законченной. Хорошо еще, если при этом он не говорил о себе «мы», «читатель», а то и «народ».

Между тем, как давно (но не очень!) замечено, настоящий критик и сам — не кто иной, как писатель: у него и стиль свой, индивидуальный, и мировоззрение, и выбор материала. От другого писателя-прозаика он отличается не столько жанром, сколько тем, что прозаик ставит свое зеркало перед жизнью, а критик — перед той же жизнью, но воплощенной в литературе. Например, об одном из лучших наших критиков старшего поколения А. Н. Макарове писатель Сергей Антонов написал, что «Александр Николаевич... умел относиться к явлениям искусства с той же серьезностью и радостью, как и к прочим

* Е. Цейтлин. Всегда и сегодня. Литературные портреты и очерки. Кемерово, Кемеровское книжн. изд., 1980.

явлениям природы — к дереву, к горе, к ручейку, к океану»*.

Разобраться во всех этих сложностях и выработать свои критические позиции предстояло молодым критикам, вступившим в строй в 70-х годах, когда вдобавок и литература наша намного усложнилась, и география ее расширилась, и появилось множество новых имен и проблем.

Среди этих критиков был и сибиряк Евсей Цейтлин.

Собственно, начинал он как литературовед, исследователь творчества одного из крупнейших наших (а может быть, и мировых) писателей — Всеволода Иванова, до сих пор еще не до конца понятого из-за своеобразия применявшейся им меры условности в искусстве. Сам такой выбор уже склонял Е. Цейтлина к тому, чтобы как можно внимательнее разобраться не только в Иванове-писателе, но и в Иванове-человеке. Без этого было просто невозможно понять его книг — например, самой, по-моему, глубокой и загадочной, «Похождения факира». Все глубже проникаясь биографией писателя, Цейтлин открыл как бы еще одного Всеволода Иванова, в основном, также неопубликованного, казалось, навсегда погребенного в архивных папках — редактора, критика, теоретика искусства, наставника молодых писателей. А для В. Иванова-критика книга, оказывается, тоже не существовала вне личности ее автора. Благодаря этому Цейтлин сумел, связавшись с адресатами писем и рецензий Иванова, обнаружить, что он создал целую школу литературы, причем учил начинающих не столько писать (этому, как правило, научить невозможно), сколько жить в литературе, видеть свое творчество в составе всей совокупности литературного процесса, уметь трезво оценивать его, не терять мужества, спокойно относиться к литературным модам и знать, что — велик ты или мал — ты всегда имеешь право на собственное мнение, на суд над собой, на собственный голос. «Надо себя чувствовать великим художником, даже будучи

маленьким художником», — писал Иванов, и он же: «Не нужно считать себя великим. Если считаешь себя великим, меньше работаешь...» Какое замечательное разноречье и замечательное единство противоположностей!

О вновь открытой им грани творчества Всеволода Иванова Цейтлин написал книгу «Беседы в дороге», и пока он вживался в нее и писал, сам стал учеником Всеволода Вячеславовича и остался им в своей дальнейшей работе — не только литературоведа, но и критика.

Иванов возражал и против критики-протокола, и против критики-оракула. Показывал, что процесс анализа произведения является таким же творческим, личностным, как и процесс создания книги: «В критике, как и во всей литературе, существует совершенство. И путь к этому совершенству труден» (Все цитаты из Иванова взяты, естественно, из книги «Беседы в дороге» — больше их взять было бы и неоткуда, если речь идет о печатных источниках).

В «Беседах» Е. Цейтлин привел и высказывания учителя о конкретных трудностях, с которыми сталкивается рецензент. Одна из них, может быть, главная, такова:

«Критику не столько трудно писать, сколько трудно выбирать, о ком писать».

Действительно, только поняв это так просто и ясно сформулированное положение, можно объяснить, что именно, какое человеческое качество породило в критических статьях эти самые «обоймы», обсуждения уже ранее обсужденного и молчание о книгах «необкатанных». Качество это — попросту умиственная робость, боязнь первому высказать свое мнение о чем-то сколько-нибудь сложном и необщепринятом — а вдруг попадешь впро�ак. Понятны становятся и иные разносы молодых провинциальных авторов. Их автор разноса мог не опасаться: мол, ничем не рискуешь, сдачи не дадут, а гением этот автор уж точно не окажется — не влетит, стало быть, ни от современников, ни от потомков.

Выбор «о ком писать» перед Евсеем Цейтлиным стоял недолго. Он взял на себя смелость писать о тех, о ком до него не было

* А. Макаров. Человеку о человеке. М.: Худ. лит., 1971, с. 503.

сказано ничего или почти ничего, главным образом, о молодых писателях Сибири.

Сибирь богата писательскими талантами, самыми разными.

Написаны и пишутся многие книги, ожидающие настоящего прочтения. Порой даже страшно становится: пробьётся ли в этом многокнижье к своему читателю вот эта хорошая книжка, сможет ли выполнить в полной мере свою нужную работу... Есть такие шуточные (и правдивые, к сожалению) стихи:

Талантам надо помогать,
Бездарности пробьются сами.

Первая строка — категорический императив, обращенный к критикам.

Статьи Цейтлина о сибирских авторах, чаще всего представляющие собой удачный гибрид рецензий, эссе и литературного портрета, появляясь на страницах журналов «Сибирские огни», «Литературное обозрение» и др., а также в критических сборниках издательств «Молодая гвардия», «Современник», имели целью именно это — помогать талантам: как представляя их всесоюзному читателю, так и открывая самим авторам таящиеся в них возможности, помогая избавиться от излишней робости.

И вот вышла еще одна книга критика — «Всегда и сегодня. Литературные портреты и очерки». Об этой книге следует поговорить подробнее, поскольку она является итоговой за целое десятилетие — 70-е годы. В ней уловлено поступательное движение сибирской литературы за этот период:

— прежде всего — ее напряженный нравственный поиск, отказ от «черно-белых» решений, углубление в нюансы, без которых (по утверждению Томаса Манна) настоящей литературы быть не может;

— обогащение ее новыми персонажами из всех сфер нашего общества, с разными, в том числе «трудными», судьбами;

— преодоление ею штампов, деления произведений по подразделам издательского плана, поверхностных фабул, обязательных хэппи-эндов.

Все это видно и в первом очерке книги «И остается жизнь. Заметки о прозе Владимира Мазаева». Мазаев, наиболее известный из всех «героев» Цейтлина, вниманием критики обижен не был — но к нему прирос ярлычок: «автор книг о геологах» со всем сопутствующим комплексом представлений (книги о «романтике дальних дорог», кострах, гитарах, мужественных бородачах и т. д., и т. п.). Между тем писатель вовсе под этот штамп не подходил, более того — всячески с ним боролся. Цейтлин прослеживает его путь от упрощенного «газетного» рассказа к сложной психологической прозе, показывает, как он преодолевал инерцию в изображении так называемых «маленьких людей», придя к утверждению цельности и неповторимости каждого «простого» и небезгрешного своего персонажа. Как, наконец, всесторонне рассмотрев характерного для второй половины 70-х годов «делового человека» (в повести «Грозная аномалия»), Мазаев закономерно развивает его, несмотря на многие его нужные для работы качества. Словом, критик показывает несовместимость разносторонней прозы Мазаева с теми рамками, куда его пытались втиснуть.

Пристальное внимание, о котором говорил Пришвин, умение задержать свой взгляд на детали, не замечаемой нехудожником, и тем самым делать изображаемое объемным и живым, явилось для Цейтлина одним из критериев выбора «о ком писать». И Мазаев, и герои всех его других очерков обладают этим качеством — и автор ярких воспоминаний о сибирских и других «незаметных» писателях Ан. Срывцев, и писательница мужественной доброты, тонкий и вдумчивый психолог Екатерина Дубро, и В. Куропатов, отлично знающий людей и проблемы деревни, и А. Волошин с его философским осмыслением поведения человека на войне.

Еще один критерий — самостоятельность писателя, его непосредственный контакт с жизнью, независимость от уже отработанных решений. Критерий не менее важный. Ведь если тем в литературе не так уж много и совсем не повторяться здесь невозможно, не впадая в формализм и непонятность, то решения их

у каждого писателя, если он только настоящий, всегда свои.

Наибольшую концентрацию всех этих качеств увидел критик в творчестве проработавшего в литературе всего шесть лет, но успевшего многое пересмотреть и переменить в ней Виктора Чугунова. Очерк об этом писателе, о котором, по всей вероятности, будет написано еще много и по-разному, — самый сильный в книжке. В очерке этом лучше и полнее всего видна творческая манера Цейтлина: соединение аналитического ума критика, образного зрения художника и волнения истинного читателя. Манера эта срабатывает в разных портретах где лучше, где хуже, но очерк о Чугунове подтверждает ее плодотворность. Не ограничиваясь разбором написанного писателем и опубликованного им при жизни, Цейтлин пробует понять, почему именно это написано, из каких глубин жизни почерпнуто, какие качества души художника вызвали на поверхность данный комплекс мыслей, образов и чувств. И обращение Цейтлина к дневникам, записным книжкам Чугунова, к воспоминаниям его друзей, товарищей по работе и учебе, к письмам — его, к нему, о нем — помогли понять, как получилось, что Чугунов столько успел сделать, войти в литературу уже сложившимся писателем, как бы перескочив период ученичества. Нет, он его не перескочил! Он просто был настолько взыскателен к себе, что не мог выйти на люди с незрелыми наивными сочинениями, не позволял себе этого, будучи в состоянии в самом начале пути различать степень зрелости собственных рассказов. Просто. Ох, и как же это непросто! Каждый, кому случалось бывать в литобъединениях или еще где-нибудь встречаться с молодыми авторами, мог убедиться: человек, прекрасно различающий, что хорошо, а что — не очень в прочитанных им книгах, к собственному творчеству чаще всего способен отнестись с одним-единственным чувством: безграничным восторгом!

Чтобы выявить, откуда взялась у Чугунова такая взыскательность и вообще то почти загадочное «нечто», которое делает произведения его фактом большой литературы, Цейт-

лин пользуется методами не только критики, но и психологического, литературоведческого, социологического анализа, биографического исследования, журналистского поиска. Это-то и означает — показать каждого писателя не только как мастера своего дела, а как человека (именно это, а не украшение стиля статьи лирическими завитушками). И если бы кто вздумал упрекнуть его, что он выдает авансы современникам, исследуя их письма, черновики и т. д., как если бы это были уже признанные классики, надо было бы сказать такому человеку, что литература табели о рангах не знает. Хорошим специалистом и плохим человеком (если взять эту проблему с другой стороны) может, пожалуй, быть инженер, экономист, слесарь, но только не писатель — вот еще почему надо пристально заниматься его личностью, если хочешь понять, что же им сделано. Сама профессия писательская в том и состоит, чтобы испытывать на себе все человеческие свойства, состояния, отношения, преодолевая все темное, вырабатывая не вещи и не умозаключения, а свойства человека будущих времен. И занимается этим каждый писатель, если только он писатель, а не копист, сводящий на бумагу «переводные картинки». И, стало быть, сам он не только может, но и должен быть объектом пристального внимания исследователя. Вот в таком-то отношении нет великих и малых, столичных и местных, молодых и маститых. Есть только писатели и неписатели.

Чего стоит писателю каждая фраза, каким чувством пропорции должен он обладать, чтобы отделить главное от второстепенного, как должен следить за малейшим движением своего пера, чтобы от неловкого, приблизительного слова не изменилась мысль всего произведения, показано в очерке о Чугунове. Особенно в том месте, где рассказывается, как искал писатель концовку рассказа «Полметра до катастрофы»:

«На последние фразы этого рассказа не сразу обращаешь внимание. Но они-то и служат писателю сильным финальным аккордом... писатель мучительно продумывал, искал эту концовку, перепробовав множество вариантов.

В финале рассказа Володя навсегда прощается с иллюзиями, осознает: бесполезно бежать от реальности в выдуманный книжный мирок. «Сломленный, разбитый, я понял, что не могу никуда уйти. Для меня не существовало мира, кроме того, который разбивал меня, чтобы сделать заново...» Эта тема станет одной из главных в творчестве Чугунова. Тема крушения и возрождения человеческой души. Тема созидания личности на развалинах иллюзий».

Нет незначущих элементов в теле живой книги. Даже название произведения никак не безразлично к его содержанию.

«Можно,— замечает Цейтлин в другом месте, в очерке «Уникальность повседневности»,— написать интересное исследование о том, что говорят читательскому сердцу названия книг. Они подобны паролям, по которым мы откликаемся на голос автора, а затем идем за ним следом или же отворачиваемся в сторону: пока, мол, с чтением повременим».

И действительно. «Пожили-поработали» — грустно и умудренно звучит название книги Владимира Куропатова; «Время быть» — назвал свою последнюю в жизни книгу А. Волошин, не повторяя в названии этого сборника заглавия ни одной из заключающихся в нем повестей; «Медленные часы» назвала свой рассказ Е. Дубро; а Чугунов назвал свой сборник по рассказу «Полметра до катастрофы» — и предсказал тем самым свою судьбу, гибель в автомобильной аварии... Да, страшную силу имеет слово!

То, что говорит нам о писателях и их труде Е. Цейтлин, отвечает потребности совре-

менного читателя: закрыв прочитанную книгу или еще не открывая ее и решая для себя вопрос, надо ли ее читать, посмотреть на портрет автора, взглядеться в его глаза, побольше узнать о нем как о человеке. Все реже встречается простодушный читатель, воспринимающий книгу как анекдот, как подслушанный разговор или как репортаж о неких, где-то проживающих людях, которым он, читатель, может писать письма по деловым и личным вопросам, автора же не запоминающий или не задумывающийся о его существовании. Процесс чтения все больше осознается читателем как процесс общения, а общаться с кем-то неопределенно-личным читателю неинтересно.

Полезность такой работы для писателей тем более неоспорима: тут-то и могут они увидеть свою работу со стороны, в чистом зеркале.

Книга Е. Цейтлина написана свободно, не обременена специальными терминами, недоступными «для профанов», обращена к каждому, кого интересуют затронутые в ней проблемы. Важной ее особенностью является то, что критик смотрит на своих героев не снизу, как почитатель на памятники, не сверху, как учитель с кафедры на своих слушателей, а глаза в глаза. В этом разговоре на равных, в безыскусственной этой пристрастности мне видится также урок Всеволода Иванова, последними писаными словами которого было: «Я не думаю, что любви к искусству надо учить, любовь есть любовь, ее нужно добиваться» (см. «Беседы в дороге», с. 181).

Москва



ПРИСТРАСТЬЕ К СВЕТУ

О новом сборнике стихов И. Киселева „Ночные реки“

Большое преимущество — видеть в развитии творчество того или иного автора.

«Ночные реки» — третий сборник Игоря Киселева, о котором пишу в альманахах. Меньше всего хочется видеть в нем нечто итоговое. Скорее есть вновь повод поразмыслить о существенных моментах в работе одного из самых интересных кузбасских поэтов.

И сегодня встреча с книжкой И. Киселева — событие не рядовое. Полной мерой дает она возможность почувствовать возрастающую силу природного таланта. Не поиск причудливой формы, не погоня за эстрадным успехом — в основе самоуглубленности поэтического письма автора.

Прочтешь строфу стихотворения, написанного несколько лет назад, — по-прежнему звучит! С течением времени мысль не истончается, не выцветает образ: «Как дышится в лесу! Как льдинки горлом лютятся!; «Человек, Богатырскою силой играючи, Должен помнить про тихие жалобы заячьи».

Какой лирик мыслим без стихов о природе? Их немало в предыдущих книгах. Уже давно внутренняя жизнь таких стихов И. Киселева напряженна. В одних драматизм беспокойства лишь намечен. В других прорывается «половодьем чувств».

Теперь, кажется мне, достаточно материала, чтобы говорить о важной, естественной линии в творчестве.

В сборнике «Ночные реки» она вылилась в запевный раздел. Когда бы поэт пришел к читателю со стихами одного цикла «Благодарю, земля, благодарю», то и в этом случае они стали бы заметны. Они показали бы нам человека чуткого, вздрагивающего каждым нервом. Именно здесь рождается гражданст-

венность, острота лирического чувства художника.

Так все, казалось бы, просто. И говорится про обыденное. Про естественные желания: «И хочется простого: Сиянья и простора, Предутренней звезды, Колодезной воды». Поэзия подобных строк приближает к нам мир. Он тоже знаком нам «в деталях». Тогда почему же, читая о колодезной воде, как бы заново этот мир узнаешь? Секрета никто не откроет: он — сама поэзия.

Одно-два стихотворения, и вот ты уже знаешь о лирическом герое. Он горожанин, со всеми присущими этой человеческой особи эмоциями. Вместе с тем герой этот — не безоглядный урбанист. Ему мало надыхаться чистым воздухом, а потом преспокойно пользоваться коммунальными услугами. Лирический герой И. Киселева сложнее, умнее, дальновиднее. Прозорливей, чем любой типичный горожанин, он видит: утрата в природе (рано или поздно) — утрата в самом себе.

Конечно, могут мне заметить: не первый и не последний наш автор ощущает эту связь. Но что из того! Все темы — вечные. Привилегия и достоинство поэзии — непрерывное движение вглубь.

Поэтическая мысль слабо поддается формулировкам. Однако попробую назвать позицию Игоря Киселева. Если про публициста сказали бы: виновных в нарушении окружающей среды он ищет на стороне, про поэта — он виноватит прежде всего себя.

Занимая такую позицию, поэт считает себя в ответе за все. Так, первоначально радея за «братьев наших меньших», он, по законам чувств, берется защищать человека в человеке. В одном из стихотворений поэт признает-

ся: «Не знаю, к несчастью ли, к счастью, В предчувствии ль близкой беды Я стал ощущать себя частью Деревьев, и звезд, и воды».

Действительно, к счастью, к несчастью ли? Благоразумие житейского опыта тут не подскажет ответа. А поэтический, художнически «поставленный» вопрос — тревожный, трепетный — заставляет каждого из нас искать ответа в собственной душе.

Зрелая лирика Игоря Киселева перестала основываться на описательности, в чем можно было упрекнуть некоторые вещи сборника «Четыре дождя». Хотя именно в названной книжке, выпущенной девять лет назад, состоялся выход к собственной теме. Своеголосие «Четырех дождей» окрепло в сборнике «Человек приходит к человеку». «Ночные реки» показывают: на протяжении последних десяти лет произошло то, что хотелось бы назвать кристаллизацией таланта.

Особенно ощутимой становится способность поэта к философскому осмыслению без потерь соприкосновения с реальным. Это не свойство поэтического возраста, а поворот к коренным проблемам бытия.

Кто следит за творчеством И. Киселева, тот знает: на магистральное направление его поэзию вывел призыв к доброте. Я мог бы в доказательство цитировать долго стихи, в которых самое это слово встречается часто, в различных сочетаниях. Поэт шел не останавливаясь. От констатации, утверждения целительности доброты — к активизации, желанию созидательности этого чувства. На этом этапе лирический строй дарования соединял в себе публицистический призыв с образным, опосредствованным воздействием. Напомню такие стихи, как «Быть в ответе», «Есть женщины, похожие на пламя», «Если станет когда-нибудь туго...»

Поэзии противопоказаны остановки, даже замедления. К сегодняшнему дню И. Киселев обогатил свое творчество многосторонне: расширилось содержание, стали совершеннее изобразительные средства. Прочтите, чтоб убедиться, в новом сборнике — «Мы закружились в долгой карусели», «Дятел», «Благодарю, земля, благодарю».

Здесь увидим живописную палитру, воспри-

имем ее цветомузыкальность. Кажущаяся сенсационность («Дятел») обернется органической близостью к фольклору. Мудрой улыбкой освещено грустное понимание неизбежных духовных потерь: «И мы тогда, как опытные лисы, Уходим от превратностей судьбы И очень часто ищем компромиссы, А лучше бы искать в лесу грибы».

Поэт не навязывает нам своих чувствований. Тут воздействие иного, эстетического характера. Вот художественная миниатюра в шестнадцать строк, трогающая точной и чуткой картиной. Как музыкальная пьеса с бережно-повелительным финалом:

Бродить по мху в брусничной сказке,
И на пугливого зверька
Смотреть доверчиво, по-братски,
И небо пить из родника,
Когда в нем тонут облака
И звезды —
Робкие подсказки
О том, что ночь уже близка.
Пробраться тою же тропой;
Где бродят лоси к водопою;
Оглохнуть от лесных вестей,
И думать просто, без затей,
Что ты не обойден судьбою...
И вдруг
С тревогою слепую
Мгновенно пожалеть детей.

Редактор одной из книг когда-то заметил влияние литературы на творчество Игоря Киселева. И был справедлив. Но еще тогда было сказано, что грозящую ему опасность поэт предотвратил сам. Избегнуть пут литературных реминисценций сумел он в процессе художественного самовоспитания. Все, что осталось в «литературном воспитании» таланта — наяву тяготение к классической форме стиха.

Талант ничем не заменишь. Новые стихи Игоря Киселева приобретают еще одну любопытную особенность. Продолжением процесса углубления становится у него попытка разобраться в тех состояниях человека, которым присущи (на первый взгляд) неосознанность, непрямая связь с быстротекущей действительностью. Психологическое состояние лирического героя таково, что кажется «включенным» весь его духовный комплекс. Каждой жилочкой, каждой кровинкой готов поэт от-

реагировать на приближение беды. Особенно заметно это в так называемых городских стихах.

Подробнее — о двух стихотворениях сборника, которые принципиально обозначают, как мне кажется, рубежи авторской позиции, кроме того, несомненно, выводят поэта к новому горизонту. Не боюсь упрека в преднамеренности, рассматривая эти вещи вместе. За меня издательский лад книжки: в ней «Сумерки» и «Ночные реки» поставлены друг за дружкой (думаю, редактор чутко уловил преемственность поэтической мысли).

В этих вещах почти общий пейзажный антураж. Сходны приемы: детализация, переплав реального изображения, когда материальное неуловимо превращается в духовное. Впрочем, это не диво. Поэт искусно владеет законами художественного мышления.

...Воображением переносимся в глубь миновавшего времени, где «Быть может, наш пращур далекий, Закончивший день свой нелегкий, Пудовые сжав кулаки, Вот так же сидел у реки». Манящая печаль сумерек. Что в ней современному человеку, которому «ночь не грозит чудесами»? Мы просыпаемся под надоедливый звон часов. Значит, нет общего в предчувствиях наших и нашего пращура?

«Завтра, быть может, уже не увидит он дня». Тревожный этот сигнал, на фоне бытовых, привычных размышлений — и есть то самое общее. В изображаемой картине ценнее всего внутренняя цепь ассоциаций. Человек из далекого прошлого, несмотря на свои пудовые кулаки, более беззащитен: «ночь с ее страхом и тьмою таится пещерным медведем иль пущенной в спину стрелой». У нас тылы обеспечены. Выходит, будь безмятежен?

И. Киселев не обозначает реалии нынешних опасностей. Роль лирического героя иная. Первому почувствовать связь времен, сквозную тревогу за человека, до сих пор в борьбе отстаивающего свое право на жизнь.

Я читаю — продолжением — «Ночные реки». Раздумья в этом стихотворении — бессонная вахта поэта. Здесь, как и во многих стихах о природе, Киселев умелыми прикосновениями рисует до осязательности живой

пейзаж. Эти камышовые заросли, стога, нерезкие во тьме поля. Словно по камертону настраивает нас. «Размытый низкий берег, Хоть глаз коли — ни зги. Ворчат ручные звери И лижут сапоги».

Описательность на этом почти и кончается. Образ реки, по существу, становится обобщением. Она сама жизнь, поэзия. Поэту важно выявить в них главное — для себя: «Люблю ночные реки За их пристрасть к свету!»

Так у И. Киселева понятие реки сливается с понятием призвания. Одно желание: «...каждый лучик света без памяти беречь». И потому органично воспринимаются цельные, сильные циклы сборника, раскрывающие нравственно-эстетические стороны поэтической работы.

«Не себе принадлежа», «Есть привкус горечи в прекрасном» — разделы, где встретимся и с давнишними, и с новыми вещами. По большинству из них давно определялась основная тема лирики автора. Стержень поэзии — стремление и способность «возвысить душу до добра».

Автор «Ночных рек» значительно расширил границы понятий «добро», «доброта». В прежних стихах из общего корня выросло некое «общечеловеческое древо». Но ведь: добро — добренький — задабривать...

Дело тут, конечно, не в семантике слов. С годами у художника обострилось умение различать инстинктивность чувствительности и осмысленность больших чувств. Образ поэзии — неотложной помощи души — поэтому претерпел у Киселева неслучайные изменения. Неплохо укладывающийся в общую тональность его поэзии «периода первоначального накопления» образ этот не объяснил бы многих сложных явлений.

Не причислю стихи «По дорогам и по бездорожью...» целиком к завоеваниям на этом пути. И все ж каким зорким стало сердце поэта, когда он говорит — «...под левым ребром есть граница меж злом и добром».

И граница незримая эта
Выше всех и долгот и широт.
И стоят на границе
Поэты —
Государственно важный народ.

Скорая помощь, к сожалению, иногда оказывается поздно. На границе добра и зла враг переходит рубеж только в одном случае — когда погибает часовой.

Вот о чем я сейчас подумал: плохо мы, читая поэтов, прочитываем их.

Свихотворение «Призвание» было опубликовано еще в сборнике «Ярославна», втором по счету и наиболее лиричном из сборников И. Киселева. С тех пор автор включает эту вещь в каждую книгу. Чем-то оно ему дорого?

И приходит мысль, что откровенная поэзия способна время от времени поворачиваться перед нашим взором то одной, то другой самосветящейся гранью. И еще думается: многое зависит от того, каков угол зрения.

Как бы то ни было, в «Призвании» автору хотелось (и удалось!) сказать о самом остром желании — быть ближе к людям, их трудам и беспокойствам. Драматизм бытового, житейского плана, характерный для этого произведения, таковым кажется лишь на первый взгляд.

«Буду жить, — скажу, — как люди. До свиданья, грусть-тоска! Подобрю и поздорову суду жить. Без драк и драм. Заведу себе корову, Чтоб мычала по утрам». Далее все в том же, ироничном духе. Строчки, будто мирный подсолнух семечками, набиты покладистыми образами: «смирные соседи», «помидоры хоть куда».

Идиллия? Но ведь в самом начале сказано, что, собираясь жить «подобрю и поздорову», герой упал «на сырую, на жестокую траву». Так что идиллий и не пахнет. Свободно, одной деталью поэт обозначает перелом. «Звук оборванной струны» — эхо ли пролетевшего реактивного, вздрог ли собственного сердца...

И пойду я вдаль — ну что же! —
Как по лезвию ножа,
Весь — до самой тайной дрожи —
Не себе принадлежа.

Так самобытно намечается в творчестве Игоря Киселева тема гражданского назначения поэзии. Она, к чести автора, в лирическом ключе продолжена искренними стихами сборника «Ночные реки».

Не чураясь и открытых деклараций («поэты — государственный народ»), используя разнообразные способы выражения, автор постоянно напоминает: поэт, какой бы синоним ни писался рядом, есть доверенное лицо жизни, является духовным первопроходцем ее крутых троп.

Художник, который понимает свое призвание, живет отнюдь не легко. С осознания важности дела и начинается основная трудность. Размышления на эту тему — содержание многих стихов рецензируемого сборника. «Спор, которого не было» внешне походит на шутку «для внутреннего употребления» (весьма, кстати, часто пользуется автор такой формой). Упрек оппонента: «Что-то, брат, ты слишком просто пишешь. Что-то слишком мелко ты, брат, пишешь». Претензия к простоте слога, а на самом деле к творческой индивидуальности, смыслу и содержанию. Нет, отвечает автор воображаемому коллеге: просто написано — не значит легко дается строка. «А пашу давным-давно я тяжко И пишу неровно и непросто». Самостоятельность пути — итог неустанного поиска и даже былых подражаний.

Свойство лирика — в себе самом искать способы выражения действительности. Но было бы плохо, если бы собою все начиналось и завершалось. И. Киселев мыслит поэзию полноводной рекой, свой труд — ручейком.

То в одном, то в другом стихотворении новой книги — об истоках творчества. Слово родного народа, природа, творчество больших мастеров и товарищей по перу — силен, неиссякаем, по признанию поэта, источник вдохновения. Это, иначе сказать, сама жизнь, что дает возможность творить, но и взвешивает беспристрастно твою истинную значимость («И тем еще эти весы мне страшны, Что боль, и мечта, и неспетая песня — Заранее взвешены и решены»).

В ряду стихов на эту тему — «К вопросу о хоровом пении». Неприязательная, вначале шутившая форма не помешала высказать вполне серьезные вещи. Справедливость оценки творчества, по мнению поэта, далеко не праздный вопрос. «Я знаю, тут раздолье спорам, Любой возможен поворот. Народ умеет

петь. Но с хором Не надо сравнивать народ».

Впрочем, только ли о творчестве речь? Обобщая, И. Киселев в принципе беспокоится о моральных критериях. По-своему говорит он о приспособленчестве, которое в духовной сфере бывает задрапировано «под настоящее», тогда его труднее распознать:

Ведь в хоре, как его ни слушай,
Едва ли различишь на вид,
Кто в песню вкладывает душу,
А кто губами шевелит.

...Этим не ограничиваются достоинства очередного сборника кузбасского поэта. Хочется особо подчеркнуть: рельефнее стали многие линии. Шире представлена, в частности, любовная лирика.

К несомненным удачам отнесу некоторые, недавно написанные произведения, вошедшие в традиционный раздел книг поэта. То, что можно назвать — «стихи-воспоминания». К примеру, «Лепечет полуночная струя» — о горьких страницах нашей жизни, не забытых, тревожащих память.

В цикле «Музыка нашего детства» И. Киселев мужественно сдержан. Поэт избегает риторики. О возросшем мастерстве можно судить по тому, как умело ему удается передать стройную художественную картину через один впечатляющий образ. Так создано стихотворение «Конь». В нем использован прием центрального образа, удачно примененный в маленькой поэме «Яблоко».

«Ночные реки» — может быть, наиболее «отработанная» публикация. Внимательно проложены русла стихотворных разделов, бережно отнесены к ним те или иные произведения. Большинство недавних вещей надежно «подпитывают» уже читанные.

Правда, не обошлось, по-моему, без издержек. То тут, то там оказались вкраплены стихи, не прибавляющие нового к творчеству И. Киселева. Имею в виду такие стихи, как «Очарование песен старинных», «Музыкальная шкатулка» — не лучшие, не раскрывающие полнее эстетическую программу поэта.

В разделе «Есть привкус горечи в прекрасном» помещено стихотворение и прямо выходящее из этой программы («Человек

начинается с «не»). Построено оно на фонетическом созвучии слов, которые в сопоставлении, по замыслу поэта, должны сыграть роль нравственной оценки поведения человека. Однако ж, не играют и все тут:

Человек перешагивает грань,
За которой «Да, стану»
Превращается в «Достану!»
И «Да, буду!»
Незаметно становится «Добуду!»

А впрочем, приятнее, чем считать неудачи, сказать в заключение еще о двух стихотворениях. В них видится мне предзнаменование будущих удач Игоря Киселева.

Стихотворение «Случилось ли что-то?» начинается примечательными, знакомыми нотами. «Чужие трагедии крыльями машут в окне», — говорит поэт. Это ощущение чужой боли находит в нем мгновенный отклик. Как и всегда находило. Полное право имеет сказать И. Киселев: «Чужие трагедии — песня моя и судьба». Как бы подтверждается перед читателем внутреннее обязательство. Вот только время идет неостановимо...

Во втором («Пусть еще не холод») поэт усмешливо рисует ретроспективу своего творчества. Доверчиво и одновременно мудро поверяет он читателю свои настроения, заявляет о дальнейших намерениях.

«Шелест прежней дрожи стихнул, унялся. Чувства стали строже, пристальней — глаза». Пишет это человек зрелых лет — и житейски, и творчески.

Были, разумеется, взлеты и падения, потери и обретения: «Не спешите, люди, юность, не суди!»

С доверием поэтому отнесемся к заключительными четверостишиям этого стихотворения:

Не в моей ли власти
И не мне ль с руки
Извлекать вам счастье
Из ручья тоски!
Пусть в конце дороги
Ноша нелегка,
Подводить итоги
Подожду пока.

Честная заявка на завтра.

Борис Рахманов



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ

ПОВАРИХИНЫ ЗАТРЕЩИНЫ

С Ритой — нашей поварихою —
Мы сидели у костра...
Руку будто бы нечаянно
Ей на плечи положил...
И от этой от затрещины
Стало просто мне невмочь...

Леонид Гержидович,
сб. «Таволга»

Время было сенокосное,
И во мне проснулся хлюст,
Обхватил я ночью росною
Поварихи нашей бюст.
Молодая эта женщина
Повернулась ко мне
И... отвесила затрещину,
Так, что где-то в стороне
Елки ухнули раскатисто,
Улетело эхо в ночь...
От костра, избитый начисто,
Я стрелой умчался прочь.
Оплеухами отмеченный,
Только к самому утру,
Опасаясь быть замеченным,
Я приблизился к костру.

Подлечив свои затрещины
И помятые бока,
С нехорошей этой женщиной
Не здороваюсь пока.

ОН

Он удобней за стол уселся.
Отвернулся он от меня.
Я очки надел.
Присмотрелся.
ТЬфу ты, господи!
Это ж я!

Владимир Дагуров,
сб. «Сроки»

Я однажды в театр собрался,
Вдруг из ванной выходит он:
Перед зеркалом причесался,
Подушился со всех сторон.
Мой пиджак из шкафа примерил,
Туфли новые мигом надел, —
Я глядел и глазам не верил,
Просто-напросто обалдел.
Он жену торопил в прихожей,
...Это значит мою жену!
У меня аж мороз по коже.
Дожил, думаю! Ну и ну!
Двадцать пять из моей полочки
Он небрежно в карман заткнул
И жену мою взял под ручку, —
Тут он, видимо, перегнул:
Я не выдержал и взорвался,
И сказал, что жена — моя!
Он в подъезде расхохотался
И заверил, что он — это я!

Наши авторы

Махалов Валентин Васильевич родился в 1933 году в г. Горьком. Окончил Ленинградский университет. Автор многих поэтических книг и сборника повестей и рассказов «Тихая родина».

Член Союза писателей. Живет в Кемерове.

Донбай Сергей Лаврентьевич родился в 1942 году в г. Кемерове. Автор поэтических книг: «Утренняя дорога» и «Прелесть смысла».

Живет в Кемерове.

Павловский Олег Порфирьевич родился в 1925 году в Архангельске. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Литературный институт имени Горького. Прозаик, автор многих книг.

Член Союза писателей. Живет в Калининграде.

Власов Владимир Аскольдович родился в 1924 году. Автор книг: «Завтра связи не будет», «Кара-Тайга» и «Техник Валька, Мерзавец и другие».

Член Союза писателей. Живет в Махачкале.

Куропатов Владимир Федорович родился в 1939 году в с. Кузедеево Кемеровской области. Окончил Новокузнецкий педагогический институт. Автор книг: «Пожили-поработали», «Зеленый луч» (г. Кемерово) и «Люди с этого света» (г. Москва).

Член Союза писателей. Живет в Кемерове.

Рахманов Борис Анатольевич родился в 1949 году в Тюмени. Литературные пародии Рахманова печатались в «Сельской правде», «Кузнецком рабочем», альманахе «Огни Кузбасса».

Живет в Новокузнецке.

Колесников Геннадий Андреевич родился в 1938 году в г. Чимкенте. Окончил Кемеровский педагогический институт. Работает редактором на студии телевидения.

Член Союза журналистов СССР. Живет в Кемерове.

**В 1981—1982 годах
Кемеровское книжное издательство
в серии «Слава труду»
выпустит в свет
следующие известные романы
советских писателей
о рабочем классе:**

**Ф. В. Гладков. Цемент.
А. А. Караваева. Лесозавод.
В. А. Кочетов. Журбины.**

**Эти книги вы можете приобрести
в магазинах Книготорга
и заказать через магазины
«Книга — почтой»**

